

РИЗАТ МАЖИТОВ

Манипуляторы

роман

18+

Ризат Мажитов

Манипуляторы

«Автор»

2026

Мажитов Р.

Манипуляторы / Р. Мажитов — «Автор», 2026

«Если истина от Бога - зачем ей бояться вопросов?» В Алматы под дождём гибнет влиятельный меценат. Официальная версия - несчастный случай. Но следователь Ильяс Баталов ей не верит, и чем глубже копает, тем яснее понимает: кто-то очень влиятельный хочет, чтобы это дело просто исчезло. В том же городе живёт Амир - человек, переживший крушение веры и однажды переставший бояться задавать вслух вопросы, которые долго задавал себе сам: о вере и сомнении, о страхе, о том, как удобные ответы заменяют людям способность думать. Его прямые эфиры за одну ночь делают его самой обсуждаемой фигурой страны. Две линии - следователя, теряющего веру в систему, и человека, пережившего крушение собственной, — неумолимо сближаются. Интеллектуальный роман с детективным нервом и острой сатирой на современность о самом дорогом и самом опасном праве человека: праве думать самому.

© Мажитов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава	6
Всевидающий	14
Три года	18
Какистократия	28
Глава	43
Глава	52
Пустая детская	64
Кто спас человечество?	70
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Ризат Мажитов

Манипуляторы

Глава

МАНИПУЛЯТОРЫ

роман

Ризат Мажитов

Глава

Ермек

Аға

Дождь в Алматы шёл так, будто город наконец подключили к небесной системе пожаротушения. Только гасить было нечего — гореть в этом городе давно перестали, здесь предпочитали тлеть.

Он бил по крышам бизнес-центров и рекламным баннерам, где улыбающиеся лица обещали ипотеку, молодость, халяльные инвестиции и курсы личностного роста — весь ассортимент способов почувствовать себя живым, не приходя в сознание. Стекал по стёклам ресторанов, где мужчины в дорогих пиджаках обсуждали духовность между стейком и вторым бокалом, искренне не видя в этом никакого противоречия. Хлестал по асфальту, капотам, пустым остановкам, по лицам прохожих, которые ещё надеялись добежать до укрытия и сохранить человеческий вид.

Город мок.

Но не очищался.

Следователь Ильяс Баталов стоял под козырьком «Nur Residence» и смотрел на тело мужчины у бордюра возле чёрного Mercedes. Мужчина был богат даже мёртвым. Это чувствовалось по обуви.

Баталов давно заметил: после смерти люди быстро становятся одинаковыми. Исчезают должности, статусы, подписчики, любовницы, кредиты и религиозные убеждения. Но хорошие туфли сопротивляются равенству дольше лица.

— **Кто?** — спросил Ильяс, не подходя ближе.

Молодой оперативник Нуржан Сейдахметов сверился с телефоном, хотя имя уже знал.

— **Ермек Сагдиев. Пятьдесят два. Строительство, логистика, благотворительные фонды, медиа. Ещё образовательный проект при мечети.**

— **Конечно.**

— **Что конечно?**

— **У нас теперь каждый второй занимается просвещением? Это как химчистка для биографии.**

Нуржан не улыбнулся. Он ещё был в том возрасте, когда шутки старших казались либо мудростью, либо нарушением инструкции. Определиться мешала зарплата.

Дождь усилился. Криминалисты работали молча. Один фотографировал машину. Вторым складывал в пакет предметы с земли. Третий стоял с таким лицом, будто хотел спросить у Вселенной, можно ли ему было сегодня просто остаться дома.

На асфальте рядом с телом лежал телефон.

Чёрный. Дорогой. Целый.

Странно целый.

Ильяс присел, не касаясь.

— Телефон не забрали?

— Нет.

— Кошелёк?

— На месте.

— Часы?

— На руке.

— Значит, не ограбление.

— Может, спугнули.

Ильяс посмотрел на Нуржана.

— Нуржан. Если убийца под дождём успел сделать главное, но не взял телефон, кошелёк и часы — он либо идиот, либо очень умный человек, который хочет, чтобы мы подумали, что он идиот.

— А если просто спешил?

— Все убийцы спешат. Даже те, кто тщательно планирует. Смерть плохо сочетается с тайм-менеджментом.

Нуржан записал что-то в блокнот. Возможно, фразу. Возможно, диагноз начальнику.

За лентой собрались жильцы. Стояли под зонтиками и навесами — как зрители на премьере плохого спектакля, куда купили билеты не они, а судьба. В окнах верхних этажей горел свет. Там смотрели вниз.

Город всегда смотрит из окон. Смотрит и делает вид, что не имеет отношения к происходящему.

У подъезда плакала женщина в бежевом пальто. Аккуратно, почти аристократично — чтобы тушь не испортила лицо окончательно. Рядом стоял мужчина в спортивном костюме и говорил в телефон:

— Нет, пока ничего не ясно. Да, Ермек ага. Прямо возле дома. Не пишите пока. Удалите пост. Я сказал — удалите.

— Кто это? — спросил Ильяс.

— Помощник Сагдиева. Медийщик. Говорит, покойный был уважаемым человеком.

— Мёртвые всегда быстро становятся уважаемыми. Особенно если у живых от них зависели деньги.

Нуржан снова не улыбнулся.

Ильяс подошёл к машине. Mercedes стоял у бордюра с включёнными аварийками. На заднем сиденье — букет белых роз, промокший через приоткрытую дверь. Лепестки слиплись и теперь напоминали не цветы, а мокрые салфетки после официального мероприятия.

— Жена? — спросил Ильяс.

— Первая или вторая? — машинально ответил Нуржан и тут же замолчал.

Ильяс повернул голову.

— Уже интересно.

— По базе одна жена. Но помощник сказал, был «личный вопрос». Я ещё не уточнял.

— У богатых людей личный вопрос обычно имеет отдельную квартиру.

Он наклонился к водительскому месту. На панели мигал навигатор. Последний маршрут — от ресторана «Жибек Жолы» до этого комплекса.

Ильяс запомнил название. Слишком много важных людей любили рестораны с национальным колоритом. Там удобно говорить о морали под казы, о народе под коньяк и о духовности под счёт, который оплачивал кто-то третий.

— Камеры?

— На въезде есть. У подъезда есть. Но охрана говорит — за десять минут до случившегося система зависла.

Ильяс медленно посмотрел на стеклянную будку охраны.

— Зависла?

— Да.

— Как совесть на госслужбе.

Нуржан наконец коротко усмехнулся, но сразу сделал вид, что кашлянул.

Ильяс направился к охраннику. Крупный мужчина лет сорока, форма пыталась выглядеть официальной, но всё равно напоминала костюм из дешёвого сериала про безопасность.

— Почему камеры не работали?

— **Сбой, ага.**
— **Какой сбой?**
— **Технический.**

— **Технический** — это когда чайник не включается. Когда камеры элитного комплекса отключаются ровно перед убийством жильца — это уже жанр.

Охранник сглотнул.

— **Я не знаю. Система сама.**

Ильяс вышел под дождь.

Телефон покойного лежал экраном вверх. Капли били по чёрному стеклу. Экран вдруг загорелся.

Входящее сообщение.

Нуржан наклонился.

— **От кого?**

Ильяс прочитал первые слова.

«Вы не должны были встречаться с Амиром».

Больше текст не показывался.

Несколько секунд — молчание. Дождь шумел так, будто город аплодировал плохой новости.

— **Кто такой Амир?** — спросил Нуржан.

Ильяс не ответил.

Смотрел на экран и чувствовал, как обычное убийство медленно перестаёт быть обычным.

В деле появился первый живой человек. Не жертва. Не убийца.

Имя.

А имя — это всегда начало лабиринта.

Он достал перчатки.

— **Упакуйте телефон отдельно. Пробейте все последние звонки, сообщения, встречи. Особенно этого Амира.**

— **Думаете, он убийца?**

Ильяс посмотрел на тело Сагдиева, на мокрые розы в машине, на окна с невидимыми глазами, на охранника в будке, на помощника, который пытался удалить правду из интернета быстрее, чем криминалисты успевали собирать улики.

— **Нет. Думаю, он причина, по которой кто-то начал бояться.**

— **Бояться чего?**

Ильяс поднял воротник пальто.

— **Обычно люди боятся не правды.**

Пауза.

— **Они боятся, что правда окажется доказуемой.**

Нуржан записал и это.

Дождь смывал кровь, пыль, следы шин, запах дорогого парфюма и иллюзию, что жизнь управляется справедливостью.

Но телефон молчал. И именно это молчание было самым громким звуком той ночи.

Впечатленцы Амира

Когда Ермек Сагдиев умер, Амир об этом ещё не знал.

Он сидел на девятом этаже и уже минут десять, может, пятнадцать, рассматривал «Луг с цветами» Моне. Развёл картинку двумя пальцами, потом ещё и ещё — пока не остались одни мазки: голубые, зелёные, оранжево-розовые пятна без связи и смысла.

С близкого расстояния — хаос, а отступишь на шаг — живой пейзаж. Вот в чём вся штука с импрессионизмом: Моне рисовал не «что», а ощущение. Трава — быстрые мазки, детали размыты, и всё внимание отдано запаху свежего воздуха и движению ветра, которые невозможно увидеть, но почему-то чувствуешь.

Амир сохранил картинку в папку «Впечатления» и перешёл дальше. Хассам. Писсарро. Сислей. Не потому что собирался стать искусствоведом. Просто картины успокаивали — как белый шум, только красивее.

Иногда он воображал телевикторину. Ведущий задаёт вопрос. На экране — картина. Зал молчит. И тут он, спокойно:

— Это Писсарро.

Зал ахает. Почему-то именно эта фантазия возвращалась всё чаще. В ней не было ни денег, ни власти. Просто момент, когда кто-то понимает: ты знаешь то, что другие не знают.

Амир убрал телефон и сразу почувствовал знакомую неловкость.

В сорок лет уже понимаешь: большинство людей не думают о тебе вообще. Но мозг не читал эту инструкцию. Где-то в нём по-прежнему существовал огромный зал наблюдателей, которые ждали его ошибки или успеха. Что, по сути, одно и то же — если зрители есть, они в любом случае получают зрелище.

За окном шёл дождь. Во дворе горели фонари. На мокром асфальте отражались окна соседних домов.

Окна. Он не любил окна с детства. Некоторые детские мысли живут дольше людей — это одна из них. Ощущение аквариума: ты внутри, мир снаружи смотрит, оценивает, выносит вердикт. Ничего не говорит, просто наблюдает.

Телефон завибрировал. Сообщение от подписчика:

«Ассаляму алейкум. Почему вы больше не говорите как раньше? Раньше вы говорили мягче.»

Амир усмехнулся. Самое интересное — слово «раньше». Люди всегда любят прошлую версию человека. Особенно ту, которая с ними соглашалась.

Он открыл чат. Напечатал:

«Потому что раньше я был уверен.»

Подумал. Стёр. Написал:

«Потому что раньше я меньше знал.»

Снова стёр.

Не ответил ничего. Один из немногих навыков, которые приходят с возрастом: не каждый вопрос заслуживает ответа. Особенно те, что замаскированы под вопросы, но по сути — претензии.

Телефон завибрировал снова. Незвестный номер.

— Да?

Несколько секунд — только шум. Потом мужской голос:

— Вы Амир?

— Иногда.

— Что это значит?

— Это значит, что сегодня да.

Пауза. Люди редко были готовы к ответам, которые не помещались в инструкции.

— Меня зовут Дастан. Я помощник Ермека Сагдиева.

Амир сел ровнее.

— Слушаю.

— Вы вчера встречались с Ермек ага?

— Да.

— Он просил что-нибудь записывать?

— Да.

— Запись у вас?

— Конечно.

Пауза.

— Никому не отправляли?

— Нет.

— Хорошо.

Голос замолчал. Слишком надолго.

— Что случилось?

Тишина. Потом:

— Ермек ага сегодня убили.

За окном продолжал идти дождь.

Амир поймал себя на странной мысли: он не удивился. Совсем. Не потому что ожидал убийства — просто последние годы он жил с постоянным ощущением, что плохие новости уже стоят где-то рядом. Как курьеры. Просто ещё не поднялись на нужный этаж.

— Когда?

— Около часа назад.

— Что говорят?

— Пока ничего.

Дастан понизил голос.

— Но есть проблема.

— Какая?

— Во время разговора были вещи, которые вообще не должны были быть сказаны.

Знакомое движение внутри. Та самая смесь любопытства и тревоги — из-за которой люди лезут в горы, начинают расследования, женятся, открывают бизнес и совершают ещё множество плохо продуманных поступков.

— Например?

Пауза.

— Вы помните, с чего он начал разговор?

— Конечно.

— Что он сказал?

Амир помолчал. Он помнил очень хорошо. Странные разговоры обычно забываются быстро. Важные — никогда.

Связь оборвалась.

Амир ещё несколько секунд держал телефон у уха. Потом посмотрел на тёмный экран.

Где-то в городе лежал мёртвый бизнесмен. Где-то уже работали следователи. А где-то, возможно, кто-то очень хотел, чтобы прошлый вечер никогда не существовал.

Амир подошёл к окну. Внизу по мокрой улице шли люди — спешили домой, смеялись, несли пакеты. Жили обычные жизни.

И вдруг захотелось оказаться одним из них. Хотя бы на день. Просто человеком — без исследований, без вопросов, без необходимости всё понимать.

Но это желание всегда приходило слишком поздно.

Обычно тогда, когда дверь очередного лабиринта уже открыта.

Всевидающий

*Каждый раз, когда ты пытаешься понравиться,
чтобы тебя приняли, ты теряешь немного себя.*

Страх редко приходит в форме монстра.

Обычно — в форме объяснения.

Летом 1995 года Амиру было десять. В этом возрасте ещё не знаешь, что почти все взрослые импровизируют. Они выглядят уверенными, говорят уверенно, поучают уверенно — но в происходящем разбираются не лучше детей. Разница одна: дети задают вопросы честно. Взрослые научились прятать растерянность за готовыми ответами.

В тот день была баня. Настоящая — с тяжёлым влажным воздухом, шипением воды на камнях, запахом разопревшего дерева. Мужчины обсуждали страну так, будто лично выдавали лицензии на историю.

После парилки Амир стоял возле зеркала. Щёки горели. Грудь была красной. Он заметил пятна — несколько неровных красных пятен. Провёл пальцем. Не болело. Не чесалось. Просто выглядело странно.

— Пап, смотри.

Отец бросил взгляд.

— От жара.

И вернулся к разговору. История должна была закончиться здесь.

Но рядом оказался родственник. Один из тех людей, у которых всегда есть объяснение. Именно такие потом становятся экспертами в интернете. Он внимательно посмотрел на грудь мальчика. Нахмурился.

— Это наказание.

Амир замер.

— За что?

— Сам знаешь за что. От Аллаха ничего не скрыть. За каждый грех будет ответ.

«Сам знаешь» — удобная конструкция. Позволяет обвинять без обвинения. Не нужно ничего доказывать — достаточно намекнуть, и человек сам достроит остальное.

По дороге домой Амир молчал. Отец говорил о чём-то другом. Машины проезжали мимо. А внутри мальчика уже началось расследование.

Если наказание — то за что? Он перебирал последние дни. Может, соврал. Может, обидел кого-то. Смеялся там, где нельзя. Хотел того, чего нельзя хотеть. Детское сознание устроено жестоко: дай ему обвинение без доказательств — и оно найдёт доказательства само.

Ночью он не мог уснуть.

Лежал и смотрел в темноту. Красные пятна не выходили из головы. Слова родственника крутились по кругу:

«Аллах всё видит».

«От Аллаха ничего нельзя скрыть».

«За каждый грех будет ответ».

До этого дня эти слова существовали где-то отдельно — как правила дорожного движения в голове ребёнка, который никогда не видел аварии. Были. Но не были реальностью. Теперь стали.

Вдруг он почувствовал: в комнате кто-то есть.

Никого не было. Он это понимал. Но всё равно чувствовал взгляд — невидимый, тяжёлый, всевидящий. Натянул одеяло до подбородка. Потом ещё выше. Будто ткань могла защитить от того, что находится не снаружи, а везде.

«Он знает».

Мысль возникла сама.

«Знает».

Амир никогда не видел Аллаха. Никогда не слышал Его голоса. Никогда не видел ангелов. Но в ту ночь был уверен в Нём больше, чем в существовании соседей за стеной.

Логика была простой. Пугающе простой:

Если наказал — значит знает.

Если знает — значит видит.

Если видит — значит существует.

Страх медленно превращался в присутствие. Где-то там, за потолком, за звёздами, за ночным небом — существо, которое знало о нём всё. Каждую мысль. Каждый поступок. Каждый секрет.

Именно тогда вера впервые вошла в его жизнь. Не через любовь. Не через чудо. Не через красоту мира.

Через страх.

Много лет спустя Амир будет перечитывать учебники по нейробиологии и психологии религии — как мозг связывает случайности в историю, как тревога ищет причину, как причина превращается в убеждение. Всё это будет понятно и убедительно. Но тогда он был ребёнком. А ребёнок в темноте не анализирует.

Он верит.

За окном шумел ветер. Лаяла собака. Дом спал. А маленький Амир лежал под одеялом и впервые в жизни чувствовал присутствие Бога — того самого, которого потом будет искать, защищать, любить, бояться, терять и снова искать почти всю свою жизнь.

Утром пятна исчезли. Полностью. Будто ничего не происходило.

Исчезли пятна. Остался страх.

Через много лет он поймёт, что так работают многие идеи: появляются как временные гости — и остаются навсегда.

Через несколько месяцев произошло ещё одно событие. На первый взгляд — никак не связанное. На самом деле связанное со всем последующим.

Раннее утро. Выходной. Двор ещё спит. Амир вышел играть в футбол — один. Ему нравилось это время: никто не мешает, не спорит, не отбирает мяч, не объясняет правила жизни. Только он, мяч, пустой двор.

Он ударил по мячу. Побежал за ним. И вдруг — остановился.

Совершенно неожиданно подумал:

«Наверное, кто-то сейчас смотрит на меня».

В окна смотреть не решился. Мысль о наблюдателе оказалась сильнее любопытства. Через секунду — следующая:

«Наверное, они считают меня странным. Рано утром. В выходной. Один. С мячом».

Он посмотрел на мяч и почувствовал неловкость. Странную. Необъяснимую. Почти стыд — за то, что просто играл в футбол, один, во дворе, утром.

Мяч медленно покатился дальше. Без него.

Возможно, за окнами никого не было. Но это уже не имело значения. Настоящие зрители переселились внутрь.

С того дня он всё чаще чувствовал взгляд — на улице, в магазине, в школе, позже в университете, на работе, а потом и в соцсетях. Невидимая комиссия по оценке его странности, работающая без выходных.

Через много лет психотерапевт задаст вопрос:

— Кто именно смотрел на тебя тогда?

Амир ответит почти сразу:

— Люди.

— Какие люди?

— Не знаю.

— Они были настоящими?

Амир промолчит.

Айлин подождёт. Как умеют ждать только хорошие терапевты.

— Иногда, — скажет она наконец, — мы настолько привыкаем к внутреннему наблюдателю, что перестаём замечать: он давно живёт внутри нас.

— А если он прав?

— Тогда почему ты до сих пор жив?

Амир усмехнётся. Но ответа не найдёт.

Летом девяносто третьего он ничего этого не знал.

Просто стоял посреди двора. Среди тишины. Среди домов. Среди окон.

И не знал, что некоторые тюрьмы начинают строиться задолго до появления стен.

Сначала появляется взгляд.

Потом страх.

Потом привычка.

А потом человек уже сам следит за собой лучше любого надзирателя.

Три года

Утро после убийства всегда выглядит оскорбительно нормально.

Солнце встаёт. Люди покупают кофе. Дети идут в школу. Таксисты ругаются с навигатором. Город работает, будто ночью не умер человек — просто одна из лампочек в подъезде перегорела.

Амир проснулся в семь сорок три. Не потому что выспался. Тревога была точнее будильника. Он лежал на спине и смотрел в потолок — белый, нейтральный, безразличный. Хороший потолок для человека, который не хочет начинать день.

Телефон лежал рядом. Экран был тёмным. Амир знал: возьми — и утро перестанет принадлежать ему. Станет собственностью новостей, комментариев, чужих страхов, чужой злости и чужих попыток объяснить то, чего никто пока не понимал.

Он всё равно взял.

Потому что современный человек отличается от древнего только тем, что добровольно будит своего надсмотрщика.

На экране — двадцать семь пропущенных сообщений. Пять звонков. Три голосовых. И один короткий текст от Дастана:

«Не отвечайте никому. Запись ищут».

Амир сел. За окном капли вчерашнего дождя сползали по стеклу кривыми дорожками — словно кто-то сверху пытался написать важное сообщение, но не знал алфавита.

Он открыл новостной канал:

«Известный предприниматель Ермек Сагдиев найден мёртвым возле своего дома».

«Полиция рассматривает несколько версий».

«Общественный деятель, меценат и патриот».

Амир усмехнулся. Смерть работала как редактор. Вырезала из биографии всё лишнее — скандалы, суды, вторые телефоны, ночные рестораны, звонки людям, чьи фамилии лучше не произносить при включённом диктофоне. Оставались только «меценат», «патриот» и «человек с большим сердцем». Большое сердце чаще всего обнаруживали после того, как оно переставало биться.

Он открыл свой канал. Последнее видео висело сверху — «Почему я не стал атеистом за один вечер». Двести восемьдесят тысяч просмотров. Семь тысяч комментариев. Заголовок теперь выглядел почти неприлично. Как объявление о скидке на совесть.

Амир нажал. На экране появился он сам — в сером худи, с тёмными кругами под глазами, с выражением лица человека, который давно понял, что камера — это не окно в мир, а новый вид допроса.

— Многие думают, что человек теряет веру за один вечер. Посмотрел ролик, прочитал книгу, обиделся на имама — и всё. Очень удобная версия. Особенно для тех, кто не хочет думать.

На экране он сделал паузу. Амир помнил её — специально оставил при монтаже. Паузы раздражали. А раздражение было единственным способом заставить некоторых дослушать мысль до конца.

— На самом деле вера уходит иначе. Не как человек, который хлопнул дверью. А как вода из старого ведра. Медленно. Почти незаметно. Ты ещё несёшь его, думаешь — полное. Потом смотришь: внизу мокрый след, в руках жестянка, внутри пусто.

Амир остановил видео. Стало неприятно — не из-за сказанного. Из-за того, что сказанное было слишком удачным. Красиво сформулированная мысль начинает вести себя как рекламный слоган. Даже если речь о боли.

Он открыл комментарии:

«Брат, вернись, пока не поздно».

«Ты просто не понял ислам».

«У тебя травма, лечись».

«Спасибо. Я целый год не могу признаться жене, что больше не верю».

На последнем задержался. Прочитал снова. Потом ещё раз.

Вот ради таких комментариев он продолжал. И из-за таких не мог остановиться. Каждый раз, когда хотелось исчезнуть — кто-то писал: «Я думал, я один». Это была ловушка благороднее денег.

Он включил чайник. На кухне было тихо.

После потери веры тишина изменилась. Раньше в ней кто-то был — невидимый, вечный, контролирующий, утешающий, угрожающий, непонятно какой. Но кто-то был. Теперь тишина стала просто тишиной. И это оказалось тяжелее, чем он ожидал.

Люди часто говорят: «Я хочу свободы». Но редко уточняют, что первые годы свобода напоминает выселение. Тебя выпускают из старого дома. Да, стены тесные. Да, окна маленькие. Да, в коридоре висел портрет строгого хозяина. Но это был дом. А теперь ты стоишь на улице с ключами от дверей, которых больше нет.

Чайник щёлкнул. Телефон завибрировал. Неизвестный номер. Он не ответил. Через десять секунд — сообщение:

«Следователь Баталов. Нужно поговорить».

Амир поставил кружку. Сел. Имя было знакомым — он читал о нём. Дело о поджоге мечети. Пропавший подросток. Убийство предпринимателя, которое списали на бытовой конфликт, хотя быт там был размером с нефтяную компанию.

Написал: «О чём?»

Ответ пришёл сразу:

«О Ермеке Сагдиеве. И о вашем интервью».

Амир медленно выдохнул. Вот оно. Лабиринт открыл дверь — не торжественно, не под музыку. Через WhatsApp. Так выглядела современная судьба: без хора ангелов, зато с автокоррекцией.

Он напечатал: «Я буду с адвокатом».

Стёр. Написал: «Я ничего не скрываю».

Тоже стёр.

Отправил: «Когда?»

«Сегодня. Чем раньше, тем лучше».

Амир посмотрел на чай. Пакетик окрасил воду в мутно-коричневый. Истина, наверное, тоже так появляется — не как свет. Как муть. Сначала всё становится менее прозрачным.

Он открыл WhatsApp раньше, чем решил, зачем. Просто палец сам нашёл зелёную иконку — старый рефлекс тревоги, привычка проверять, не изменился ли мир, пока ты заваривал чай. Мир не изменился. Зато на секунду взгляд зацепился за собственный профиль. За строчку «О себе», которую он менял, кажется, целую вечность назад и с тех пор забыл. Раньше там стояло что-то вроде «журналист». Потом — пусто. А в какой-то момент, месяцев пять назад, ночью, он написал туда три слова и не стал стирать.

В ПРОЦЕССЕ ДЕЛЕНИЯ

Тогда это казалось честнее любого статуса. Не «атеист», не «в поиске», не «свободен» — слишком громко, слишком окончательно. А именно так: клетка, которая перестала быть прежней, но ещё не стала новой. Разорванная надвое посередине процесса. Он собирался поменять фразу на что-нибудь нормальное. Так и не поменял. Возможно, потому что она всё ещё была правдой.

До встречи оставалось два часа. Вверху списка чатов висел один, к которому взгляд возвращался чаще других:

Ерлан

Последнее сообщение — три дня назад. Ерлан был одним из немногих друзей, которых Амир ещё не потерял. Не потому что часто виделись — наоборот. Взрослая дружба напоминала подписку на редкий журнал: знаешь, что существует, но новые выпуски приходят всё реже.

Вчера Ерлан звал на день рождения. Небольшая компания. Старые друзья. Без пафоса, без разговоров о политике, без разговоров о религии. Практически фантастика.

Амир даже обрадовался. И сразу удивился собственной реакции — последние годы он всё реже хотел видеть людей. После разрушения веры что-то сдвинулось. Он начал смотреть на окружающих как эмигрант, случайно оказавшийся среди местных. Все понимали какие-то правила. Все чувствовали себя частью чего-то общего. А он потерял пароль от клуба.

Вечером пришло сообщение от Ерлана:

«Слушай, бро. Вынужден отменить ДР. У сына температура».

Амир несколько секунд смотрел на экран. Потом почувствовал облегчение. Настоящее. Физическое.

И сразу — стыд.

Он ведь хотел встретиться. Разве нет? Хотел, наверное. А может, ему просто нравилась сама идея встречи — гораздо больше, чем встреча.

Он посмотрел в окно. По улице шли люди — разговаривали, спешили, жили. Иногда ему казалось, что человечество — это большой праздник, на который его забыли пригласить.

Пришло ещё одно:

«Сорри бро».

Амир усмехнулся. Написал: *«Выздоровливайте»*.
Подумал ещё секунду. Набрал: *«Спасибо»*.
Отправлять не стал.

Он решил записать короткий стрим. Глупо. Но он давно заметил: в моменты тревоги не уходил от людей — обращался к ним. Издалека. Через экран. Люди были рядом, но не могли войти в комнату. Идеальная близость для человека, который боится близости.

Включил камеру, проверил свет, сел и посмотрел на своё лицо на экране. Человек на экране выглядел умнее, чем чувствовал себя человек за камерой. Главное преимущество онлайн — там можно выглядеть версией себя, которая ещё не развалилась.

Нажал «начать эфир».

Сто зрителей. Триста. Восемьсот. Комментарии побежали вверх:

«Амир, что случилось с Сагдиевым?»
«Это правда, что вы брали интервью?»
«Брат, осторожно».
«Ты следующий».

Амир прочитал последнее.

Улыбнулся.

— Спасибо за заботу. В интернете угроза смерти давно стала формой комментария. Раньше люди писали «доброе утро». Теперь — «ты следующий». Прогресс, как говорится, не остановить.

Комментарии ускорились.

— Я не буду говорить о Сагдиеве. Не потому что боюсь. Потому что пока не знаю. Разница важная. Хотя для большинства комментаторов «не знаю» звучит как оскорбление.

Он наклонился ближе к камере.

— Вчера под моим видео снова написали: «Ты просто проснулся однажды и решил стать отступником». Очень смешно. Во-первых, я плохо просыпаюсь. Во-вторых, такие вещи не решаются за утро.

Он замолчал. На секунду показалось — кто-то смотрит из окна соседнего дома. Машинально перевёл взгляд. Окно было тёмным. Конечно.

— У меня ушло примерно три года. Три года вопросов. Три года книг. Три года разговоров с самим собой, от которых нормальный человек давно бы переехал в другую голову. Я не выходил из веры с плакатом. Я выползал из неё, как человек из горящего дома, который всё ещё переживает, выключил ли он утюг.

Комментарии на мгновение замедлились.

— И вот что важно. Я не стал атеистом. Не в том карикатурном смысле, где атеист — это человек без морали, который утром ест свинину, а днём поклоняется Дарвину. Удобный образ. Дешёвый. Работает на аудиторию.

Он усмехнулся.

— Но бывший мусульманин — это не обязательно атеист. Это человек, который однажды понял: вопросы не исчезают от того, что ты боишься их задавать.

Кто-то написал:

«А если ты ошибаешься и попадёшь в ад?»

Амир увидел сразу. Такие комментарии он всегда видел сразу — как старые знакомые, которые приходят без приглашения и знают, где у тебя больное место.

— Хороший вопрос. Очень старый. Почти антикварный. Можно поставить на полку рядом с «что скажут люди» и «ты неблагодарный».

Он откинулся на спинку стула.

— А если я ошибаюсь? Тогда, возможно, придётся отвечать перед Богом. Но встречный вопрос: а если ошибаетесь вы? Если вы всю жизнь прожили не в вере,

а в страхе? Если называли покорностью то, что было просто привычкой бояться? Если защищали истину, которую никогда не проверяли?

Пауза.

— Пари Паскаля любят объяснять так: выгоднее верить, потому что если Бог есть — выиграл, если нет — ничего не потерял. Очень бухгалтерский подход к вечности. Духовный депозит с капитализацией страха.

Комментарии взорвались:

«Красава».

«Гордыня».

«Скажи это в могиле».

— Человек теряет не ноль. Он теряет жизнь, прожитую из страха. Теряет честность. Теряет возможность сказать: я не знаю. А иногда именно эти три слова — начало взрослого мышления.

В дверь позвонили. Резко. Слишком резко.

Комментарии сразу заметили паузу:

«Кто там?»

«Полиция?»

«Не открывай».

— Видите, как работает тревога? Один звонок в дверь — и у всех уже версия. Мозг не любит пустоты. Лучше придумает плохой сюжет, чем согласится подождать.

Звонок повторился. Амир выключил микрофон. Встал. Подошёл к двери. Посмотрел в глазок.

Двое мужчин. Один в тёмной куртке. Второй в сером пальто — держался так, будто всю жизнь входил в комнаты, где люди начинали говорить правду не по доброй воле.

Амир открыл.

— Амир Талипов?

— Да.

— Ильяс Баталов. Следственный департамент.

Амир кивнул.

— Вы быстро.

— Это у мёртвых времени много. У нас обычно мало.

Они посмотрели друг на друга. Две разные усталости. Два разных способа не верить людям.

Из комнаты доносились звуки стрима. Комментарии летели по экрану. Тысячи людей смотрели на пустой стул. И впервые за долгое время Амир почувствовал: невидимая аудитория действительно существует. Только теперь она была не в окнах.

Она была у него в телефоне.

— Вы в эфире? — спросил Ильяс.

— Был.

— Лучше выключить.

Амир обернулся. На экране крупно висел комментарий:

«Амир, если это полиция, спроси у них, кто убил Сагдиева».

Ильяс тоже прочитал.

— Умный народ.

— Народ всегда умный, когда не несёт ответственности.

Амир закрыл эфир. Экран погас. В комнате стало тихо.

Ильяс прошёл внутрь и огляделся. Следователь давно заметил: квартиры рассказывают о людях больше, чем люди рассказывают о себе. Иногда больше, чем психотерапевты. Особенно если хозяин не готовился к визиту.

Квартира была удивительно чистой. Не показательно, не стерильно — не как в рекламе моющих средств. Спокойно чисто. Словно здесь давно никто ни с кем не воевал. Светло-серые стены. Тёмное дерево полок. Большой бежевый диван. Растения возле окна. Книги — много, и по ним было видно, что их открывают.

Ильяс вдохнул. У каждой квартиры — свой запах. Одни пахнут усталостью. Другие — одиночеством. Третьи — деньгами, скандалами, застарелым страхом. Здесь пахло свежим бельём, лимонным средством для посуды и чем-то вкусным. Домашним. Едой, которую готовят не ради гостей — ради себя.

На стене висела картина. Лодки. Вода. Небо. Солнечный свет.

— Джозеф Коут. Албанский художник, — раздался голос Амира.

Тот вернулся с чайником.

— Узнали?

— Нет.

— Большинство не узнаёт.

Амир поставил поднос.

— Мне нравится, как он писал маслом.

— И что?

— Так, будто писал акварелью.

Ильяс посмотрел ещё раз. Ничего не понял. Но спорить не стал.

Потом его взгляд упал на проигрыватель пластинок. Настоящий — с иглой, с крышкой, с толстыми чёрными дисками. Ильяс прищурился, будто увидел динозавра.

— Это ещё работает?

— Иногда.

— Зачем?

— Не знаю.

— Тогда зачем купили?

— Иногда красивые вещи не обязаны быть полезными.

Ильяс усмехнулся. Логика странная. Но почему-то убедительная.

Телевизора не было. Домашнего телефона тоже.

— Кстати, телевизора нет.

— Не нужен.

— А проигрыватель нужен?

— Нет.

— Тогда почему...

— Потому что телевизор пытается что-то продать. А пластинка ничего не хочет.

Ильяс рассмеялся. Впервые за утро.

Амир поставил перед ним кружку.

— Цейлонский Рёкое.

— Откуда знаешь, что люблю чай?

— Не знаю. Люди, которые не любят сладкое, обычно любят чай.

— Откуда знаешь, что я не люблю сладкое?

— Профессия.

— Следовательно?

— Нет. Человек.

Амир поставил рядом тарелку с печеньем и сразу взял три штуки. Ильяс печенье проигнорировал. Но чай оказался неожиданно хорошим. Он даже прочитал название на пакетике — чтобы запомнить. Что было на него совсем не похоже.

— Ладно. Теперь к делу.

Амир достал телефон. Нашёл файл. Положил на стол. Нажал воспроизведение.

Сначала — шум ресторана. Голоса, посуда, музыка. Потом раздался голос Сагдиева — низкий, уставший.

Сагдиев: *Я смотрел ваши видео. Вы описали мою жизнь лучше, чем я сам.*

Несколько секунд никто не говорил.

Сагдиев: *Люди думают, что миром управляют деньги. Неправда. Деньгами управляет страх.*

Амир: *Страх чего?*

Сагдиев: *Страх перемен. Страх неопределённости. Страх потерять место за столом.*

Звук чашки. Пауза.

Сагдиев: *Я много лет думал, что нахожусь рядом с центром. Потом понял: центра может вообще не быть.*

Ильяс слушал молча. Чай остывал.

Сагдиев: *Вы когда-нибудь замечали, Амир... Самые опасные люди редко продают ложь. Они продают чувство безопасности. Большинство из них даже не понимает, что делает. Они искренне считают себя спасителями. Думаете, существуют заговоры? Нет. Настоящие системы работают иначе. В них почти никто не знает всей картины. Каждый просто делает свою маленькую работу.*

Шум ресторана. Кто-то проходит мимо.

Сагдиев: *Люди не хотят правду. Люди хотят уверенность. И чем сильнее человек боится — тем дороже он платит за простые ответы.*

Амир: *Тогда чего вы боитесь?*

Долгая пауза. Очень долгая.

Сагдиев: *Не того, что они сделают. А того, что они уже сделали.*

Ильяс впервые почувствовал что-то личное — словно погибший говорил не только с Амиром. Но и с ним.

Сагдиев: *Неделю назад я увидел документ, которого не должен был видеть.*

Амир: *Какой документ?*

Сагдиев: *Самое интересное — он не был секретным. Его могли читать сотни людей. Просто никто не понимал, что именно читает.*

Сагдиев: *Есть одна фамилия. Если я её назову — вы сразу решите, что речь об одном человеке. На самом деле — о сотнях.*

Амир: *Не понимаю.*

Сагдиев: *Я тоже не понимал. Почти двадцать лет.*

На записи — звук входящего звонка. Голос Сагдиева изменился. Резко. Почти испуганно.

Сагдиев: *Что?.. Температура сорок?.. Нет, я выезжаю. Сейчас.*

Шум отодвигаемого стула. Потом — последняя фраза. Та самая. Из-за которой Ильяс потом переслушает запись ещё много раз.

Сагдиев: *Продолжим через пару дней. Самое важное я ещё не рассказал. Самое важное начинается там, где люди перестают задавать вопросы. Потом. И именно поэтому мне уже поздно молчать.*

И уходит.

Запись оборвалась. В комнате — тишина. Слышно, как остывает чай.

Ильяс долго смотрел на телефон. Потом на Амира.

— И что было самым важным?

Амир медленно покачал головой.

— Не знаю.

— Совсем?

— Совсем. Но мне кажется, он собирался назвать конкретные имена.

Ильяс снова посмотрел на телефон. Потом на картину с лодками. Потом в окно — на обычный город, обычных людей, обычную жизнь.

И впервые подумал:

«Возможно, расследовать придётся не убийство. А систему, которая его породила».

Какистократия

Все уроки истории – в четырех фразах:

Того, кого боги хотят уничтожить, они сначала сводят с ума своей властью.

Мельницы Божьи мелют медленно, но мелют очень мелко.

Пчела оплодотворяет цветок, который она грабит.

Когда достаточно темно, можно увидеть звёзды.

— Чарльз Остин Бирд, «четыре урока истории»

Аудитория была небольшой. Рядов двадцать, половина заполнена. Студенты исторического факультета, несколько аспирантов, один бородатый мужчина в очках, который явно пришёл не за зачётом. У первого ряда стоял пожилой человек с мелом в руке и смотрел на доску так, словно на ней уже было написано то, что он только собирался сказать.

Амир сел сзади. Незаметно. Профессор Салих не обернулся. Он вообще редко смотрел на аудиторию в начале — сначала ему нужно было поговорить с доской, собраться с мыслями, дать тексту проявиться в голове. Амир знал эту привычку. Они дружили уже семь лет, и каждую лекцию Салих начинал одинаково — спиной к залу, мелом на доске, тишиной.

На доске появилось слово:

**ФИТНА АЛЬ КУБРА (656-661 Г)
ПЕРВАЯ СМУТА. НАЧАЛО.**

Потом он обернулся.

— **Хорошо. Начнём.**

Голос у Салиха был низким, слегка хриловатым — как у человека, который много лет говорит вслух о вещах, которые большинство людей предпочитает не трогать. Он положил мел на край доски и скрестил руки.

— **Тема сегодняшней лекции — начало Первой фитны. Убийство третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана. И то, что этому предшествовало.**

Он сделал паузу.

— **Предупреждаю сразу: это неудобная история. Людям нравится думать о первых десятилетиях ислама как об эпохе единства, братства и духовного совершенства. Отчасти это правда. Но только отчасти. Потому что уже тогда шла политическая борьба. Ломались копья. Умирали люди. И вопросы, которые поднимались — о власти, деньгах, справедливости, родовых связях — не были вопросами маргиналов и смутьянов. Это были вопросы лучших из лучших, то есть сахабов.**

Он медленно прошёл вдоль первого ряда.

— Итак. 644 год. Умар ибн аль-Хаттаб смертельно ранен ножом в мечети во время утренней молитвы. Мусульманский мир только что пережил двенадцать лет стремительных завоеваний. Государство огромно. Денег много. И первый вопрос, который встаёт немедленно: кто будет следующим халифом?

— Умару предложили самому назначить преемника. Он ответил примечательно. Сказал: если я не назначу — поступлю как Пророк. Если назначу — поступлю как Абу Бакр. Оба варианта имеют своих защитников.

Он поднял палец.

— Но он выбрал третий путь. Создал шуру — совет из шести человек. Абдуррахман ибн Ауф, Али ибн Абу Талиб, Усман ибн Аффан, Тальха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн аль-Аввам, Саад ибн Абу Ваккас. По словам Умара, это были люди, которыми Пророк был доволен перед смертью.

— Уже здесь есть вопрос. Людей, которыми Пророк был доволен, было гораздо больше шести. Почему именно эти? Что стоит за выбором?

Он посмотрел на аудиторию — не ожидая ответа, просто проверяя, слышат ли.

— Ключевой фигурой в этом совете был Абдуррахман ибн Ауф. Именно ему давалось решающее слово при равенстве голосов. А теперь смотрите на родственные связи.

Он написал на доске три имени.

— Абдуррахман был женат на дочери Укбы ибн Абу Муайта. Эта женщина — единокровная сестра Усмана по матери. Тёща Абдуррахмана, Арва бинт Курайз, была матерью самого Усмана. Саад ибн Абу Ваккас — двоюродный брат Абдуррахмана. Если добавить сюда голос самого Усмана — это устойчивый блок из трёх голосов. А поскольку при равенстве решение принадлежало стороне Абдуррахмана...

— Результат был предreshён ещё до начала голосования.

Студент в третьем ряду поднял руку.

— Профессор, а может, они просто все поддерживали Усмана независимо от родственных связей?

— Возможно. Но тогда объясните мне вот что. Умар, незадолго до смерти, рекомендовал будущему халифу назначить Саада ибн Абу Ваккаса наместником Куфы. Это странное уточнение, если вы рассматриваете самого Саада как реального претендента. Зачем заранее определять, какую должность займёт кандидат? Это скорее похоже на то, что Умар уже понимал, чем закончится голосование.

— Есть и ещё одна деталь. Умар однажды сказал Ибн Аббасу прямо: «Если дать Хашимитам власть, я боюсь, что они будут распоряжаться судьбой общины по своему усмотрению». Хашимиты — это род Али. То есть он заранее говорил, кого не хочет видеть на этом месте.

— Я не говорю, что шура была заговором. Я говорю: она не была нейтральной. Это важное различие.

Он прошёлся к окну и обратно.

— После смерти Умара шура заседала в доме Мисвара ибн Махрамы. Тальха отсутствовал — был за пределами Медины, его голос временно взял Абдуррахман. Обсуждения были напряжёнными. Постепенно все снимали свои кандидатуры. Остались двое: Али и Усман.

— Абдуррахман провёл, я бы сказал, беспрецедентную для VII века работу. Он обходил Медину. Разговаривал со всеми: стариками, молодёжью, мужчинами, женщинами, свободными и рабами, членами торговых караванов, представителями племён. Буквально опрашивал общественное мнение. Своего рода референдум. По итогу он заключил, что большинство склоняется к Усману.

— Перед финальным объявлением он задал обоим кандидатам один вопрос. Будете ли вы руководствоваться Кораном, Сунной и практикой Абу Бакра и Умара?

— Усман сказал: да, буду. Али сказал: буду руководствоваться Кораном и Сунной, но в необходимых случаях стану использовать собственный иджтихад. Абдуррахман объявил Усмана халифом.

— Мнения историков расходятся: насколько именно этот ответ повлиял на решение. Некоторые считают, что вопрос был составлен так, чтобы выгодно Усману. Другие думают, что Абдуррахман уже давно сделал выбор и лишь завершал процедуру. Как бы то ни было — Али не получил власть снова. Второй раз.

— Реакция Али показательна.

Профессор взял мел и записал цитатой Али.

«Это уловка. Люди смотрят на Курайш, а Курайш смотрит на себя. Если власть окажется у Хашимитов, она останется у них. Если отдать другому — можно передавать между собой. Мне остаётся лишь терпение».

— Это не слова смирившегося человека. Это слова человека, который понял механизм. И который будет ждать. Когда Абдуррахман объявил о решении, Али медлил с принятием присяги. По некоторым сообщениям, ему сказали: принеси присягу — иначе пойдём на тебя с мечом. Он принёс. Но прежде, чем уйти, сказал Абдуррахману: ты назначил Усмана только потому, что рассчитываешь после него сам получить халифат.

— Абдуррахман ответил цитатой из Корана. Али ответил: события покажут.

— События показали.

Тишина. Кто-то в середине зала писал, не отрываясь.

— Прежде чем мы пойдём дальше, я хочу сказать несколько слов об источниках.

— Всё, что я вам только что рассказал — и всё, что расскажу дальше — опирается на ранние исторические источники. Они несовершенны. Иногда противоречат друг другу. Иногда отражают позицию той группы, которую поддерживал конкретный историк. Это нужно держать в голове.

— Основные источники по этому периоду: Халифа ибн Хаййат, один из самых ранних хронистов, чья «Та'рих» даёт строгую фактологию. Ахмад аль-Балазури — его «Ансаб аль-ашраф» содержит подробные биографии сподвижников и цепочки иснадов. Ибн Сад — «Табакат аль-кубра», незаменимый источник по биографиям. Ибн Шабба — его труд по истории Медины дошёл частично, но исключительно ценен для понимания городской политики. Табари — «Та'рих аль-русул валь-мулюк», главная хроника, собравшая множество версий одних и тех же событий. И наконец Ас-Саллаби — более поздний, но методологически добросовестный.

— Все они передавали события через цепочку рассказчиков — иснад. Это важный фильтр. Но не абсолютный. Одно и то же событие у разных историков может выглядеть одинаково, по существу, по-разному в деталях. В зависимости от того, чья версия легла в основу.

— Я говорю вам это не для того, чтобы вы усомнились во всём. А для того, чтобы вы понимали: история — это не протокол. Это реконструкция. Наша задача — не принять одну версию как истину, а понять, почему существуют разные версии и что за каждой из них стоит.

— Продолжим.

— Прежде чем мы перейдём к самому правлению Усмана, я хочу остановиться на одном моменте, который историки часто пропускают.

— К моменту смерти Умара прошло двенадцать лет. Государство устоялось. Авторитет первых халифов был огромным. Большинство мусульман признали бы любое разумное решение Умара. Любое.

Он поднял голос чуть громче.

— Умар однажды сказал буквально следующее: «Если бы Салим, освобождённый раб Абу Хузайфы, был жив, я бы назначил его своим преемником». Салим вообще не был курайшитом. Он был вольноотпущенником. Умар сам называл его кандидатом. То же самое он говорил про Абу Убайду.

— Но вместо этого он создал шуру из шести курайшитов. Этим решением он де-факто закрепил монополию Курайша на власть. Это не случайность. Это выбор. И выбор этот имел последствия, которые ощущались на протяжении столетий.

— Подумайте, кого не было в этом совете. Не было ансаров — мединцев, которые приютили Пророка. Не было Абу Зарра аль-Гифари. Не было Абдуллаха ибн Масуда. Не было представителей тех племён, которые составляли ядро исламской армии. Был узкий круг мекканской аристократии.

— Если бы в шуру включили более широкий круг участников, институт халифата мог бы пойти по другому пути. Возможно, стать менее родовым. Более институциональным. Более представительным. Этот момент существовал. Он был упущен. И последствия этого решения ощущались вплоть до 1517 года, когда Османская империя в Египте перехватила титул халифа. Это более восьмисот лет.

Профессор посмотрел на доску, потом снова на аудиторию.

— А пока вернёмся к Усману.

— Правление Усмана принято делить на два периода. Первые шесть лет — относительно спокойные. Вторые шесть лет — нарастающий кризис. Это не просто удобная схема. Это реальное разделение.

— В первые годы продолжались завоевания. Поступали трофеи. Казна пополнялась. Когда денег много, недовольных мало. Недовольство растёт не от бедности. Оно растёт от неравенства на фоне богатства.

— При Умаре существовала система государственного содержания — диван. Она распределяла выплаты из казны. Но не поровну. Размер зависел от близости к Пророку, времени принятия ислама, заслуг в ранних сражениях. Это уже был принцип привилегий, а не равенства.

— Умар понимал опасность. Поэтому он устанавливал ограничения. Контролировал имущество наместников. Изымал незаконно нажитое. Запрещал курайшитам переселяться в богатые провинции — буквально говорил: «Стою у выхода из Медины и не дам им уйти, иначе они упадут в огонь». Сам жил аскетически.

— Когда он умер, этого контроля не стало.

Профессор написал на доске цифры.

— Позвольте привести несколько данных из ранних источников. После смерти Усман оставил 50 тысяч динаров — это около 225 килограммов золота, — плюс 30 миллионов дирхамов, большие земельные владения, около тысячи верблюдов.

Зубайр ибн Аввам — земли в Египте, Басре, других регионах, несколько домов, около тысячи лошадей, сотни рабов, сотни рабынь.

Тальха ибн Убайдуллах — до тысячи динаров дохода в день из Ирака. В день. Абдурахман ибн Ауф — сто лошадей, тысяча верблюдов, десять тысяч овец.

Профессор сделал паузу.

— Это люди, которые ещё недавно жили в условиях почти полного равенства. Среди них были те, кто помнил Мекку до хиджры. Кто пережил бойкот. Кто знал, что такое голод. И теперь эти же люди или их ближайшее окружение владели состояниями, сопоставимыми с целыми провинциями. А обычный солдат, который рисковал жизнью в Египте, Ираке, Персии, смотрел на это и задавался вопросом: за что я воюю?

— Именно это вызывало недовольство. Не бедность. А ощущение, что богатства уходят не туда. Первым об этом заговорил вслух Абу Зарр аль-Гифари. Он открыто критиковал накопление состояний. Цитировал аят о тех, кто копит золото и серебро. Требовал справедливого распределения. Предупреждал: это приведёт к бунтам.

— Он оказался прав.

— Параллельно шёл ещё один процесс. Назовём его прямо: формирование наследственной элиты.

— Первое поколение мусульман пережило многое лично. Мекканские гонения. Бойкот. Переселение. Войны. Для них ислам был не традицией, а биографией. Они знали, что такое потерять всё ради убеждений. Новое поколение — то, что в источниках называется «ахдас», молодые, — выросло в условиях победившей империи. Их мировоззрение было другим. И это нормально. Поколения всегда разные. Проблема в другом.

— Дети победителей начали получать привилегии автоматически. Не за собственные заслуги — за имя отца. Потомки известных сподвижников занимали высокие должности, не имея опыта. Их клиенты и вольноотпущенники получали преимущества перед людьми из других племён, которые, может быть, сражались больше и честнее.

— В этот же период при дворе Усмана всё большее влияние получила группа, которую называли «тулака». Это мекканцы, принявшие ислам только после завоевания Мекки. Многие из них вошли в ислам не от убеждения — просто потому что политическая ситуация уже не оставляла выбора. Именно они пользовались особым доверием Усмана. Формировали его ближайшее окружение. Влияли на кадровые решения. Контролировали информационную среду вокруг халифа. В результате многие старые сподвижники — люди с огромным авторитетом и реальными заслугами — оказались на периферии. Оттеснены не силой, а связями.

Кто-то в задних рядах тихо спросил:

— А Омейяды — это тулака?

— Не все. Но многие из тех, кто резко усилил влияние при Усмани, принадлежали к этой среде. Сам Усман принадлежал к Омейядам. И именно его родственники из этого рода получили ключевые посты. Что порождало у части сподвижни-

ков очень болезненный вопрос: не восстанавливается ли под исламским знаменем власть тех родов, которые раньше боролись против Пророка?

— Теперь о человеке, без которого невозможно понять кризис. Марван ибн аль-Хакам. Двоюродный брат Усмана.

— Его отец, аль-Хакам ибн Ас, был одним из противников Пророка в Мекке. Насмехался над ним. Передавал чужие разговоры. Подражал его походке в издевательской форме. Пророк отправил его в изгнание в Таиф. Абу Бакр и Умар не позволили ему вернуться. Усман разрешил. И после возвращения семья аль-Хакама получила высокие должности, финансовые привилегии, доступ к государственным ресурсам. Сам Марван стал государственным секретарём халифа. Получил официальный печатный знак — фактически печать халифа.

— То есть Марван получил контроль над административным аппаратом. И начал использовать этот контроль. Принимал решения без ведома Усмана. Вступал в конфликты со сподвижниками. Многие современники считали именно его главным источником проблем и представить себе не могли, что через сорок лет Марван станет халифом исламского мира.

— Усман видел эти конфликты. Иногда делал Марвану замечания — публично, при всех. Но устранить его не мог или не хотел. И это было его трагическим просчётом.

— Была ещё история с государственной казной. Когда брат Марвана захотел получить деньги, казначей Абдуллах ибн Аркам отказал. Усман потребовал выдать средства. Казначей бросил ключи и ушёл со словами: «Я думал, что являюсь хранителем казны мусульман, а не вашей семьи». Это не просто протест одного человека. Это формулировка, которая стала лозунгом целого движения.

— Самый известный скандал — африканская добыча. Значительная часть военной добычи из африканских завоеваний оказалась связана с Марваном и его семьёй, а также с наместником Египта Абдуллахом ибн Саадом. Именно эти действия стали главным источником общественного недовольства.

— И важно понимать: те, кто выражал это недовольство, не были маргиналами. Это были Али ибн Абу Талиб, Тальха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Аввам, Саад ибн Абу Ваккас, Абдуррахман ибн Ауф. Они напоминали Усману: казна принадлежит общине, а не роду.

— Усман отвечал: они не давали. Я даю и надеюсь за это на награду от Аллаха.

— Это ответ честного человека. Проблема в том, что он давал не из своего кармана.

— Поговорим о кадровой политике. Вспомните: перед избранием Усмана спросили, будет ли он следовать практике Абу Бакра и Умара. Он сказал да. В вопросах управления он нарушил это обещание довольно быстро. Сам факт смены наместников — не проблема. Проблема в другом: кто приходил на смену?

— Египет. Усман сместил Амра ибн аль-Аса — одного из наиболее способных администраторов эпохи. Поставил своего молочного брата Абдуллаха ибн Саада ибн Абу Сарха, человека с крайне спорной биографией: он некоторое время покидал ислам, был прощён благодаря заступничеству Усмана. Теперь получил крупнейшую провинцию.

— Куфа. Крупный гарнизонный город. Снят опытный Саад ибн Абу Ваккас. Назначен Валид ибн Укба — единокровный брат Усмана. Примечательна сцена их встречи. Саад сказал Валиду: «Это ты поумнел, или мы стали глупее?» Валид ответил, что власть — это имущество, которое сегодня ест один, а завтра другой. Тогда Саад произнёс фразу, которую после него повторяли многие: «Похоже, вы превратили управление в царство».

— Потом в Куфе появился Саид ибн аль-Ас. Он произнёс фразу, которая стала катализатором: «Земли Саада — это сад Курайша». Для воинов и переселенцев, которые завоёвывали эти земли, это прозвучало как объявление. Малик аль-Аштар ответил: «Как земли, завоёванные нашими мечами, могут быть садом Курайша?» Это был уже политический разрыв.

— Басра. Второй крупнейший гарнизон. Снят Абу Муса аль-Ашари. Назначен Абдуллах ибн Амир, двадцатипятилетний двоюродный брат Усмана без серьёзного административного опыта. Али, Тальха и Зубайр выступили против. Они напомнили слова Умара: «Не возлагай Омейядов на плечи людей». Усман не ответил.

— Куфа и Басра были главными военными, политическими и интеллектуальными центрами раннего ислама. Именно отсюда формировались армии, развивалась исламская наука политические движения эпохи Праведных халифов и Омейядов. Если Мекка и Медина были духовным сердцем раннего ислама, то Куфа и Басра стали его политическим мозгом и военной силой.

— Сирия. Муавия ибн Абу Суфьян. Здесь отдельная история. При Умаре Муавия управлял, строго соблюдая инструкции. При Усмани его полномочия расширились. Когда умирали другие губернаторы Сирии, их территории присоединялись к его владениям. В итоге под его контролем оказалась вся Сирия, Джазира и значительная часть севера. Это было почти самостоятельное государство. Али однажды сказал Усмани прямо: «Муавия боится даже раба Умара больше, чем боится тебя. Он делает что считает нужным, а людям говорит, что действует по твоему приказу». Усман на это не реагировал.

— Теперь о том, что лежало в основе всего. Экономика.

— Пророк говорил: «Хима принадлежит только Аллаху и Его Посланнику». Люди имеют общее право на воду, пастбища и огонь. Умар сохранял этот принцип. Говорил своему смотрителю пастбищ: не препятствуй беднякам пасти небольшие стада, но не допускай огромных стад богачей. «Если их животные погибнут — они останутся богатыми. Если погибнет скот бедняка — он придёт ко мне жаловаться».

— При Усмани контроль ослаб. Часть земель, прежде считавшихся общественным достоянием, постепенно перешла к частным владельцам. Богатства текли в

Медину и концентрировались в руках узкого круга. А тем временем воины из Куфы, Басры, Египта смотрели на это с фронта империи. Они рисковали жизнью. Они завоёвывали земли. Они теряли товарищей. А доходы от этих завоеваний уходили к людям, которые сидели в удобных домах Медины и имели нужные связи.

— Ещё раз: проблема не в том, что люди стали бедными. Наоборот. Проблема в том, что богатство росло быстрее, чем справедливость его распределения. Когда рядом видишь огромные состояния, а сам чувствуешь себя обделённым — это самая взрывоопасная комбинация. Это работало в VII веке. Это работает сейчас.

— Я хочу подчеркнуть одну вещь, которую часто обходят стороной. Традиция критики власти существовала уже среди самих сподвижников. Это не было изобретением поздних смутьянов. И критику высказывали не маргиналы.

— Абдуллах ибн Масуд — один из наиболее уважаемых сподвижников, хранитель казны Куфы. Когда новый губернатор взял деньги из казны и не спешил возвращать, а Усман встал на сторону губернатора — Ибн Масуд подал в отставку. Позже его вызвали в Медину, и, по ряду источников, с ним обошлись жёстко. Перед смертью он отказался принять компенсацию от Усмана.

— Абу Зарр аль-Гифари. Открыто критиковал накопление богатств. Конфликт с Муавией. Выслан из Сирии. Конфликт с Усманом. Выслан в отдалённую Рабазу, где умер в одиночестве.

— Аммар ибн Ясир. Возражал на заседании, когда речь шла об очередном распределении имущества. По некоторым сообщениям, подвергся физическому насилию. Впоследствии поддержал египетскую оппозицию.

— Это три имени. Три разных человека. Всех их Пророк лично уважал. Все они оказались в конфликте с властью Усмана. Это не совпадение. Это система. Когда власть систематически ссылает, унижает и лишает содержания людей уровня Абу Зарра и Ибн Масуда — это уже не отдельные конфликты. Это политика. И она порождает ответную реакцию.

Профессор снял очки, протёр их, надел снова.

— Перейдём к последнему периоду. К концу правления Усмана жалобы из провинций уже не помогали. Люди писали лично Усману — он не реагировал. Писали сподвижникам — те разводили руками. Тогда провинциальная оппозиция начала координироваться. Встречались во время хаджа. Обсуждали одинаковые проблемы. Решили ехать в Медину.

— Усман отправил инспекторов в провинции. Почти все вернулись с докладами, что серьёзных проблем нет. Затем он собрал губернаторов во время хаджа. Предложения были разными: начать новые военные походы — занять людей войной; покупать лояльность подарками; каждому губернатору жёстко контролировать свою провинцию. Обратите внимание: никто не предлагал устранить причины недовольства. Только подавить его проявления. Само по себе говорит о многом.

— В Медину прибыли делегации. Около 700 человек из Египта, группы из Куфы и Басры. Они выдвинули конкретные требования: вернуть изгнанников, увеличить помощь бедным, справедливо распределять доходы, назначить честных чиновников, дать письменные гарантии.

— Усман пообещал. Делегации уехали.

Он сделал паузу.

— Но потом произошло то, что изменило всё.

— На дороге в Египет был перехвачен человек. При нём обнаружили письмо — адресованное египетскому наместнику, от имени халифа. Содержание: часть мятежников казнить, части отрубить руки, остальных подвергнуть жестокому наказанию. В числе тех, кого предписывалось казнить, были сподвижники Пророка.

— Египтяне вернулись в Медину. Показали письмо сподвижникам. Усман признал свою печать. Но категорически отрицал своё авторство. Предположил, что письмо мог написать Али. Али разгневанно ответил: «Напротив, это твоё дело».

— Большинство историков склоняется к тому, что письмо написал Марван. Государственная печать находилась у него. Но Усман отказался его сместить. Это был момент невозврата.

— Тогда мятежники сформулировали дилемму: если письмо написал ты — ты нарушил обещание и должен уйти. Если написал не ты — значит, твоим именем управляют другие, и халифат у тебя уже забрали. В обоих случаях выход один: твоя отставка.

— Усман ответил: возможно, я умру, но не откажусь от халифата.

— Осада продолжалась около сорока дней. И вот этот факт сам по себе важен. Если целью было убийство — могли бы убить раньше. Усман ещё выходил в мечеть, возглавлял молитву. Но этого не делали. Первоначально надеялись на отставку.

— Усман выходил на балкон. Перечислял свои заслуги: не убивал несправедливо, не изменял вере, купил колодец Рума и сделал его общественным, расширил мечеть Пророка за свои деньги, финансировал поход на Табук. Потом предупреждал: «Если вы убьёте меня, вы перестанете любить друг друга и не сможете объединиться против врагов». Он понимал, что его гибель будет началом большой смуты.

— Осаждавшие отвечали: мы именно этого и боимся — что смута продолжится из-за тебя.

— Город мог разогнать осаждавших. В Медине жило около 20 тысяч человек. Осаждавших было примерно 900. Но жители, среди которых были сахабы, не вмешивались. Одни не хотели. Другие молчаливо надеялись, что руками мятежников будет решена проблема, которую они сами не могли решить.

— Затем был убит один из осаждавших. Мятежники потребовали выдать убийцу. Усман отказался. После этого кто-то поджёг ворота дома. Несколько человек проникли внутрь через соседние строения. Усман в это время читал Коран. Он запретил своим сторонникам сражаться. Сказал: я не хочу, чтобы из-за меня проливалась кровь мусульман.

— Мухаммад ибн Абу Бакр, сын первого халифа, схватил его за бороду. Усман сказал: «Если бы твой отец был жив, ему бы это не понравилось». По некоторым источникам, Мухаммад смутился и отступил. Дальше действовали другие. Судан ибн Хумран нанёс удар. Жена Усмана Наиля попыталась его закрыть. Потеряла пальцы. Потом последовали новые удары.

— Усман был убит в своём доме, читая Коран. Кровь попала на страницы мусхафа.

— После этого дом был разграблен.

Профессор замолчал. В аудитории тоже было тихо.

— Тело долго не могли похоронить. Многие жители Медины отказывались участвовать. Усмана похоронили ночью, небольшой группой, почти тайно, рядом с кладбищем Баки. Подумайте об этом. Третий халиф крупнейшего государства своего времени. Этого человека хоронили ночью, в спешке, почти без людей. Это не случайность. Это итог.

— И убийство ничего не решило. Ни одна из проблем не исчезла. Зато появились новые: кто виноват? Нужно ли мстить? Кто следующий? Имеют ли мятежники право влиять на выбор власти? Именно эти вопросы приведут к битве при Верблюде. К Сиффину. К появлению хариджитов. К тому расколу, последствия которого мы ощущаем до сих пор.

— Позвольте закончить несколькими мыслями историка Мехмета Азимли.

— Первое. Первые десятилетия ислама — это не эпоха безмятежного единства. Это эпоха острых споров, политической борьбы и очень человеческих ошибок. Понимание этого не ослабляет уважение к тем людям. Оно делает их более живыми.

— Второе. Кризис Усмана — это не история о хорошем человеке, которого предали злодеи. Это история о том, как любая власть, даже начавшаяся с лучших намерений, может постепенно превратиться в инструмент узкой группы, если не выстроены работающие институты контроля.

— Третье. Религиозные разногласия в этой истории играли второстепенную роль. Основные причины кризиса — экономика, распределение ресурсов, племенная конкуренция, конфликт поколений. Это напоминание о том, что политическое насилие почти никогда не бывает вызвано только идеологией.

— Четвёртое. Традиция критики власти существовала среди самих сподвижников. И когда сегодня любые вопросы к власти клеймятся как мятеж против ислама

— это не традиция раннего ислама. Это позднейшее наслоение, которое использовалось и используется для защиты конкретных интересов.

— И наконец. История редко бывает чёрно-белой. Усман не был злодеем. Мятежники не были чистыми борцами за правду. Али не был бездействующим наблюдателем. Муавия не был просто честолюбцем. В каждом из них было больше, чем одна роль. Первая фитна трагична именно потому, что не было виновных в обычном смысле слова. Были люди, которые действовали согласно своим убеждениям, своим интересам и своему пониманию справедливости. И результатом стала война, которая разрезала мусульманскую общину на части, от которых она не вполне оправилась по сей день.

Он посмотрел на аудиторию.

— Вопросы?

— Учитель Салих, а почему вы на доске написали «НАЧАЛО»?

— Потому что убийство Усмана в 656 году считается началом Первой фитны. Смута продолжится ещё пять лет. Али станет халифом и будет Битва Верблюда — Али против Айши, Тальхи и Зубайра, в которой погибнет по некоторым данным тринадцать тысяч человек, где с обеих сторон примет участие не мало сахабов. Ещё через год при Сиффине Али сразится с Муавией — крупное сражение между мусульманами с участием девяносто тысяч человек. Сиффин закончится Арбитражом, в котором Муавия, не без помощи Амр ибн Аса — другого сахабы, переиграет Али. Хариджит Ибн Мульджам в 661 году убьёт Али, а Муавия станет халифом и основёт Омейядскую династию.

— А почему «Первая фитна»? Были ещё смуты?

— Было ещё три. Вторая была в 680–692 годах — самая драматичная гражданская война в исламской памяти. В третьей смуте — кризис Омейядского халифата, восстания, серия убийств халифов и появление движения Аббасидов, которые в 750 году свергнут Омейядов. Четвертая фитна — это тоже гражданская война и тоже десятки тысяч убитых. Борьба за власть между двумя сыновьями Харун Рашида. Но обо всех событиях первого столетия мусульман поговорим на других лекциях.

Что важно понимать, дорогие студенты. Традиционная религиозная литература часто представляет эпоху «праведных халифов» как золотой век единства. Однако исторически уже через 24 года после смерти Мухаммеда мусульманская община раскололась и погрузилась в серию гражданских войн.

Многие современные историки считают, что именно эти фитны сформировали основные направления ислама: суннизм, шиизм, хариджизм. По сути, многие богословские и политические споры мусульман уходят корнями не столько во времена пророка, сколько в эти гражданские войны VII- VIII веков.

Потом пошли ещё вопросы. Потом ответы. Потом снова вопросы. Аудитория ожила. Амир слушал — не из вежливости, а потому что слова Салиха продолжали работать ещё и ещё. Как хороший текст, который читаешь один раз, а потом ловишь в себе через неделю.

Когда студенты стали расходиться, он остался.

Аудитория пустела медленно. Кто-то задавал последние вопросы у доски. Кто-то собирал ноутбук, не отрывая взгляда от конспекта. Двое аспирантов негромко спорили в дверях. Потом они тоже ушли.

Амир подошёл к профессору, когда тот стирал с доски свои записи. Слово ФИТНА исчезло последним.

— В мечети об этом почти не рассказывали.

Салих не обернулся сразу. Продолжил стирать. Потом положил тряпку.

Они вышли из аудитории и пошли в сторону кабинета профессора. По дороге Амир говорил. Не с тем напором, с которым обычно спорил в эфирах — просто спрашивал. И Салих отвечал. Убийство Хасана. Кербела. Хусейн.

С каждым новым эпизодом картина становилась всё менее похожей на детскую книгу. И всё больше — на человеческую историю.

В кабинете профессора пахло старыми книгами и чем-то вроде пыли пополам с любопытством. На стенах висели карты — несколько эпох сразу, разные цвета границ, разные названия стран. На столе стояли два стакана с чаем, которые Салих молча поставил, пока Амир рассматривал корешки на полках.

В какой-то момент Амир спросил:

— Значит, сахабы не были святыми?

Салих задумался. Действительно задумался — не для паузы, а потому что хотел ответить точно.

— Святыми?

— Нет.

— Хорошими?

— Иногда.

— Плохими?

— Иногда.

— Великими?

— Некоторые.

— Трагическими?

— Почти все.

Он сделал паузу. Настоящую.

— Знаешь, какая ошибка чаще всего встречается в истории?

— Какая?

— Мы превращаем людей в символы. Потом символы начинают заменять людей. А потом люди забывают, что символы когда-то были живыми.

Амир молчал. Салих продолжил:

— Как сказал Глебыч: «Есть два взгляда на историю. Первый — романтический, героический, полный подвигами и самопожертвованиями. Второй — фактажный, реалистичный, исторический с поправкой на человеческую сущность».

Солнце уже начинало садиться. Кабинет потемнел. Салих включил лампу. Тёплый жёлтый свет лёг на книги, на стол, на старые карты, на два стакана с давно остывшим чаем.

- Профессор.
- Да?
- Получается, меня учили не истории.
- А чему?
- Легенде.

Салих долго смотрел на стакан. Потом тихо сказал:

— Тебя учили памяти. Просто памяти, удобной для воспитания.

Он поднял глаза.

— История вообще очень неудобная наука. Потому что её невозможно полностью использовать для проповеди. Она всё время сопротивляется.

- Как?
- Фактами.

— И знаешь, что самое тяжёлое в этой профессии? — добавил Салих, не дожидаясь вопроса.

— Что?

— Фанатичное желание не знать. Не желание узнать неправильно — желание вообще не знать. Историческую правду о пророке, о сахабах, про Омейядов и Аббасидов, про Османов — и, что самое неприятное, про собственное современное положение. Люди готовы потратить огромную энергию, чтобы не дать себе случайно наткнуться на факт, который испортит удобную версию.

— Зачем тратить энергию на то, чтобы не знать? Разве не легче просто не интересоваться?

— Незнание по умолчанию — это пассивность. А вот фанатичное незнание — это уже работа. Это активное избегание, выстраивание защит, готовность спорить с источниками, которые сам никогда не открывал. Гораздо проще всю жизнь прожить, искренне ничего не зная. Сложнее — потратить годы, выстраивая стену против знания, которое всё равно где-то рядом.

Амир улыбнулся.

- Красиво сказано.
- Нет. Это очень раздражающе сказано.

Они оба рассмеялись. В кабинете стало теплее — не от температуры, а от того, что иногда случается в таких разговорах: два человека, которые давно знают друг друга, вдруг говорят что-то важное так, будто впервые.

Когда Амир вышел из университета, уже вечерело. Студенты сидели на ступеньках — пили кофе, смеялись, спорили. Кто-то влюблялся. Кто-то расставался. Кто-то был уверен, что понимает мир. Кто-то уже начал сомневаться.

Раньше после таких разговоров он немедленно записал бы видео. Открыл бы ноутбук. Начал бы спорить, доказывать, разоблачать. Сегодня не хотелось. Впервые Амир подумал, что разрушение мифа — это не победа. Это просто ещё одна форма взросления.

Он сел в машину. Не заводя двигатель. Посидел несколько минут в тишине. Потом посмотрел на вечерний город.

Раньше он искал святых.

Теперь начинал искать людей.

А это гораздо интереснее.

Глава

Kaspi Sadaqa

На кладбище женщины не приехали. Так было принято.

Смерть в первый час после захоронения становилась мужским делом: земля, лопаты, мокрые туфли, короткие молитвы, крепкие рукопожатия и лица, на которых горе давно уступило место усталой обязанности.

После ночного дождя земля была тяжёлая. Липла к подошвам, к краям брюк, к дорогим кожаным ботинкам людей, привыкших ходить по мрамору, паркету и коврам в VIP-залах.

Один мужчина в тёмном пальто посмотрел на свои итальянские туфли и тихо сказал соседу:

— Всё, убил обувь.

Сосед кивнул с видом, будто это тоже была форма траура.

Ильяс стоял чуть в стороне. Наблюдал. На похоронах люди выдают больше, чем на допросе — потому что на допросе человек знает, с кем говорит. На похоронах думает, что говорит с жизнью.

Перед свежей могилой стояли мужчины. Родственники. Бизнес-партнёры. Чиновники. Люди из родного аула. Те, кто действительно знал Сагдиева. Те, кто знал его деньги. Те, кто знал только фамилию, но пришёл на всякий случай.

Имам читал Коран. Голос поставленный, красивый — будто специально обученный для помещений с эхом и людей с чувством вины. Арабские слова плавно летели над мокрой землёй. Никто их не понимал. Но все уважали.

Мужчины сидели на корточках вокруг могилы. Кто-то смотрел в землю. Кто-то в телефон. Кто-то на часы. А кто-то — на свежий бугорок, под которым несколько минут назад исчез человек, называвший себя хозяином своей жизни.

По обычаю каждый бросил землю. Одну лопату. Кто-то аккуратно. Кто-то неловко. Кто-то с лицом человека, который участвует в важной процедуре, которую не до конца одобряет, но пропустить нельзя.

Асет, сын Сагдиева, стоял впереди. Ему было двадцать семь. Высокий, сухой, с красивым почти болезненно правильным лицом — из тех людей, которые очень стараются выглядеть собранными, потому что внутри давно всё рассыпано.

Чёрная спортивка. Чёрные кроссовки. В руке — чётки. Он их не перебирал. Сжимал. Так сжимают не предмет, а последнюю версию себя.

К нему подходили мужчины. Обнимали. Говорили одно и то же:

- Сабыр, балам.
- Экең жақсы адам еді.
- Алла алдынан жарылқасын.

Асет кивал. Каждый раз одинаково. Слегка. Сдержанно.

Ильяс смотрел на него и думал: этот парень не плачет не потому что сильный. Он не плачет потому, что пока не знает, кого именно потерял.

Рядом двое мужчин обсуждали недвижимость.

- **Сейчас район вверх пойдёт. Там сделают большую аллею.**
- **Да? Я думал, наоборот.**
- **Нет, брат. Люди сказали.**
- **Какие люди?**
- **Ну... люди.**

После слова «люди» оба замолчали. В нём помещались чиновники, банкиры, родственники, слухи, рынок и чьи-то знакомые знакомых.

Чуть дальше — про китайские машины.

- **Я тебе говорю, BYD лучше.**
- **Да брось. Zeekr быстрее.**
- **Быстрее куда? В городе до следующего светофора.**
- **Зато салон как бизнес-класс.**
- **Бизнес-класс теперь у всех. Даже у бедных в кредит.**

Рядом, чуть в стороне от свежей могилы, говорил Амантай. Дальний родственник Сагдиева — настолько дальний, что половина присутствующих не могла точно объяснить степень родства, но достаточно близкий, чтобы считать себя обязанным произносить речи у каждой могилы рода.

— **Я ведь это кладбище помню, когда тут вообще никого не было, — говорил он трём мужчинам, которые слушали скорее из вежливости, чем из интереса. — Вот этот участок — пустырь был. А теперь смотрите, сколько народу. Каждый год расширяется.**

Он обвёл рукой горизонт, будто демонстрировал собственные владения.

Амантай был из тех людей, которые могут говорить часами на любую тему, при этом зная обо всём понемногу — ровно столько, чтобы не дать собеседнику возможность поспорить, но не настолько много, чтобы сказать что-то стоящее. Он не лгал специально. Просто его память хранила обрывки чужих разговоров, заголовков, слухов — и выдавала их с уверенностью человека, лично присутствовавшего при создании мира.

— Земля здесь хорошая, — продолжал Амантай. — Сухая. Не как на старом кладбище, там вода близко, сырость. Я слышал, что из-за этого процессы медленнее идут под землёй.

Никто не уточнил, какие именно процессы. Слушать Амантая означало соглашаться с правилами игры: ты не спрашиваешь источник, он не утруждает себя его называть.

Один из мужчин кивнул, просто чтобы кивнуть.

Ильяс почти улынулся. На кладбище хоронили человека. Но жизнь пришла без приглашения и начала обсуждать свои дела. Это было даже честно. Смерть всегда хочет монополии на внимание. Но у людей ипотека.

Имам закончил. Мужчины провели ладонями по лицам — кто механически, кто с искренним чувством. Ритуал великая вещь: позволяет участвовать в смысле, даже если смысла не понимаешь.

Началось движение к машинам. Слякоть чавкала. Дорогие внедорожники выезжали один за другим — автосалон премиум-класса проводил выездную презентацию бренда «бренность».

Нуржан подошёл к Ильясу.

— Поедем на ас?

— Поедем.

— Думаете, там что-то будет?

Ильяс посмотрел на уходящих людей.

— На кладбище люди играют роль скорбящих. За едой становятся собой.

Ресторан назывался «Алаш Сарай». Большой зал был готов: белые скатерти, золотистые чехлы на стульях, пиалы, салаты, бауырсаки, сухофрукты, минеральная вода.

Мужчины сели отдельно. Женщины отдельно. Женщины накинули платки — на пару часов.

Ильяс с Нуржаном выбрали место у края, чтобы видеть весь зал. Здесь люди ели, шептались, делали вид, что скорбят — и одновременно проверяли: кто пришёл, кто не пришёл, кто с кем сел, кто кого проигнорировал.

Имам — лет сорока пяти, аккуратная борода, белая тубетейка, дорогой смартфон. Часы, скромность которых стоила дороже большинства нескромных. Он говорил о загробном мире. Мягко. Уверенно. Профессионально.

— Дорогие братья, жизнь коротка. Каждый из нас вернётся к Создателю. Богатство останется. Должности останутся. Машины останутся. Только амал пойдёт с человеком...

За соседним столом мужчина тихо спрашивал:

- Мясо когда будет?
- После Корана.
- Долго ещё?
- Потерпи. Человек умер.
- Я понимаю. Но с утра ничего не ел.

На женской стороне сидела Мадина. Первая жена Сагдиева. Лет пятидесяти — но возраст на ней не лежал, он стоял рядом, уважительно ожидая разрешения приблизиться. Чёрное платье, строгое, дорогое, без украшений. Платок сидел идеально. Лицо бледное, собранное. Глаза сухие.

Такие женщины не плачут при людях. Не потому что не больно. Потому что их с детства учили: даже боль должна знать своё место.

Только пальцы на коленях выдавали её. Иногда сжимались. Ненадолго. Потом замирали.

Ильяс перевёл взгляд дальше. И увидел её.

Женщина за третьим столом не была похожа ни на дальнюю родственницу, ни на случайную гостью. Чуть больше тридцати. Платок накинута неумело — как человек, который знает правило, но не живёт внутри него. Под платком выбивались ухоженные волосы. Пальто на стуле рядом было светлым. Слишком светлым для этого дня. Лицо красивое, уставшее, напряжённое.

Ильяс ещё не знал её имени. Но сразу понял: эта женщина пришла не проститься. Она пришла подтвердить, что всё было.

Айжан не смотрела на еду. Не разговаривала. Не плакала. Смотрела на Мадину — не прямо, осторожно, через зал.

Мадина почувствовала взгляд. Женщины в таких вещах быстрее следователей. Повернула голову. Их глаза встретились — на секунду. Но иногда секунды хватает, чтобы умерла ещё одна жизнь.

В зале ничего не изменилось. Имам говорил. Мужчины ждали мясо. Кто-то наливал чай. Но между двумя женскими столами прошла невидимая трещина.

Пожилая женщина наклонилась к соседке:

- Анау кім?
- Қайсы?
- Анау. Ақ пальто қойған.
- Білмеймін.

Пауза. Потом шёпот стал тоньше:

- Жай келген адам емес.
- Иә.

Слухи в таких местах летят быстрее интернета. Потому что интернету нужен сигнал. А сплетне достаточно взгляда.

Асет тоже увидел Айжан. И вот это было важно. Он не удивился — побледнел. Ильяс отметил сразу. Не удивился — значит, знал. Побледнел — значит, не ожидал её здесь.

— **Что? — тихо спросил Нуржан.**

— **Потом.**

У стены за небольшим столиком сидел пожилой родственник с толстой тетрадью. Ручка, список, конверты. Люди подходили по одному — называли имя, оставляли деньги, он аккуратно записывал. Имя. Сумму. Способ оплаты. Порядок почти бухгалтерский.

Имам аккуратно поставил на край стола небольшую пластиковую табличку. На ней — номер телефона. Под ним:

Kaspi Gold

И маленькая надпись:

«Садақа»

Ильяс посмотрел на табличку. Потом на имама. Потом снова на табличку. Цивилизация всё-таки достигла совершенства: духовная услуга нашла удобный платёжный интерфейс.

— **Продвинутый, — прошептал Нуржан.**

— **Нет. Просто рынок дошёл до вечности.**

Мясо подали. Зал ожил. В одно мгновение атмосфера загробного мира уступила земной необходимости. Блюда с ет разносили быстро. Пар поднимался над тарелками. Лук блестел.

За мужским столом пошли разговоры:

— **Ермек в молодости простой был.**

— **Все простые, пока денег нет.**

— **Он много помогал.**

— **Помогал, да. Но и своё не забывал.**

— **А кто забывает?**

— **Никто. Поэтому и живём.**

Амантай сидел в центре стола — место, которое он, кажется, занимал на любых поминках в любом ресторане города по умолчанию. Когда принесли мясо, он отрезал кусок, прожевал, оценивающе кивнул и произнёс с интонацией человека, открывающего научную конференцию:

— **Кстати, вы знали, что во Франции кониной онкобольных лечат?**

За столом на секунду стало тише. Не потому что кто-то поверил сразу. А потому что никто не собирался спорить с человеком на поминках.

— Серьёзно? — спросил кто-то скорее из приличия.

— Конечно. Там целая программа. Французы давно поняли, что в конине что-то такое есть, чего нет в другом мясе. — Он отрезал ещё кусок, прожевал с удовольствием человека, который не только знает истину, но и наслаждается её вкусом. — А кумыс вообще пьёт только парижская элита. Простому человеку там кумыс не по карману.

Никто не спросил, откуда у Амантая такие сведения про парижскую элиту и французскую онкологию. Такие вопросы при всех не задают — это давно усвоенное правило. Казахи редко скажут прямо то, что у них на уме, особенно за столом, особенно на поминках. Сомнение в чужих словах при свидетелях считалось почти невежливым жестом, сравнимым с тем, чтобы встать и уйти, не доев мясо.

Люди за столом просто верили Амантаю. Не потому что было трудно усомниться. Просто было приятнее поверить. Слова о парижской элите и французской медицине звучали как утешение — будто где-то там, в далёкой просвещённой стране, уже подтвердили величие того, что лежит на тарелке перед каждым из них. Сомневаться в этом значило бы сомневаться в чём-то большем, чем просто факт о конине.

— Вот почему наши деды долго жили, — заключил Амантай, отодвигая тарелку. — Всё знали. Просто не записывали.

За другим столом — про строительство:

**— Теперь проекты кто заберёт?
— Рано ещё.
— Рано для кого? Люди уже звонят.
— Хотя бы похороны закончатся.
— Похороны закончатся. Земля останется.**

Ильяс ел мало. Слушал много. К Асету снова и снова подходили:

**— Теперь ты старший.
— Надо держаться.
— Отец оставил имя.
— Имя сохранить тяжелее, чем деньги.**

Последнее сказал старик из аула. Тихо. Без пафоса. Ильяс впервые за весь день подумал: кто-то сказал правду.

Асет поднял глаза.

— Какое имя? — спросил он.

Старик не понял.

— Что?

Асет тут же опустил взгляд.

— Ничего.

Но Ильяс услышал. И запомнил.

На женской стороне Мадина встала. Медленно. С достоинством. Женщины рядом зашевелились, думая — к выходу. Но Мадина пошла вдоль столов. К Айжан.

Шёпот в зале загустел.

Айжан увидела и тоже встала. Обе стояли друг напротив друга. Две женщины одного мужчины. Одна — признанная. Другая — спрятанная. Одна с правом на траур. Другая с правом только на память.

— Вы знали? — спросила Мадина.

Голос спокойный. Даже слишком.

— О вас?

— О том, что он лгал.

Айжан сглотнула.

— Он говорил, что всё решит.

Мадина едва заметно улыбнулась — горько, без злости.

— Мужчины часто так говорят, когда ничего решать не собираются.

Айжан опустила глаза. Женщины перестали есть. Даже самые голодные поняли: мясо может подождать.

— У вас дети? — спросила Мадина.

Айжан молчала. Слишком долго. Этого было достаточно.

Мадина закрыла глаза на секунду. Когда открыла — лицо почти не изменилось. Но Ильяс увидел: что-то внутри неё окончательно обрушилось.

— Мальчик?

Айжан тихо:

— Девочка.

Мадина кивнула. Очень медленно.

— Значит, у него была дочь, которую я не знала.

— **Мне жаль.**

Мадина посмотрела на неё.

— **Вам?**

Пауза.

— **Нет. Вам не жаль.**

Айжан подняла глаза.

— **Мне жаль нас обоих.**

Вот тут Мадина дрогнула. Совсем чуть-чуть. Но дрогнула. Ожидала оправданий, слёз, вины, наглости. Чего угодно. Только не этой фразы.

Кто-то кашлянул. Кто-то поправил салфетку. Кто-то шепнул:

— *Масқара...*

Имам за главным столом смотрел в сторону — так смотрят люди, которые ещё минуту назад говорили о вечности, а теперь не хотят вмешиваться в земное.

Асет встал резко. Стул скрипнул.

— **Достаточно.**

Мадина обернулась. Голос тихий:

— **Нет, балам. Только начинается.**

Айжан медленно села. Мадина вернулась к своему столу. Мясо снова начали есть. Жизнь продолжилась — как всегда, даже после второй смерти.

Когда ас закончился, люди вышли на улицу. Словно кто-то выключил невидимый режим траура. На кладбище небо было серым. Сейчас светило солнце. Воздух после дождя стал чистым, прозрачным.

На парковке уже говорили о своём. Кто-то торопился на встречу. Кто-то договаривался созвониться. Жизнь уверенно забирала назад всё то время, которое утром уступила смерти.

Ильяс смотрел на Сагдиева теперь через людей. Через сына. Через Мадину. Через Айжан. Через тех, кто пришёл проститься. И через тех, кто пришёл показаться. Пазл начинал собираться. Но кусочки пока принадлежали разным коробкам.

Возле чёрного Land Cruiser стоял Дастан. Уже открывал дверь.

— **Дастан.**

Тот обернулся.

— **Завтра сможете встретиться?**

— **По какому поводу?**

— **По поводу Сагдиева.**

— **Я уже всё рассказал.**

Ильяс улыбнулся.

— **Нет. Вы рассказали только то, что считали нужным.**

Дастан посмотрел внимательно. Потом кивнул.

— **Во сколько?**

— **Десять утра.**

— **Хорошо.**

Он открыл дверь. Потом остановился.

— **Знаете... последние недели Ермек ага всё время говорил одну странную вещь.**

Ильяс замер.

— **Что самое опасное в жизни — это не ложь.**

Пауза.

— **А правда, которую все считают нормой.**

Дастан сел. Дверь закрылась. Внедорожник выехал с парковки.

Ильяс остался стоять на солнце. Где-то позади смеялись люди. Какие-то родственники фотографировались по случаю встречи. Кто-то прощался. Кто-то договаривался о новой встрече.

Жизнь продолжалась.

Только у Ильаса появилось ощущение, что вместе с Сагдиевым похоронили не человека.

А вопрос.

И теперь предстояло выяснить, кто так сильно не хотел, чтобы на этот вопрос появился ответ.

Глава

Namaz Room

«Молитва не меняет Бога — она меняет того, кто молится».
— Сёрен Кьеркегор

К вечеру дом опустел. Не полностью — до конца такие дома не пустеют никогда. Слишком много комнат. Слишком много родственников. Люди, которым нужно где-то переночевать, кого-то встретить, что-то обсудить или просто просидеть до утра.

Но после похорон внутри появилась новая тишина. Особенная. Та, которая приходит не когда никого нет — а когда больше нет одного конкретного человека. Именно тогда слышно всё остальное. Тиканье часов. Шум холодильника. Скрип паркета. Собственные мысли.

Асет сидел на террасе второго этажа. Перед ним стояла чашка давно остывшего чая. Внизу в саду домработница собирала бутылки воды и посуду.

В доме ещё были родственники. Кто-то смотрел телевизор. Кто-то разговаривал по телефону. Кто-то обсуждал завещание так осторожно, будто деньги могли услышать и обидеться.

Дом был большим. Очень большим. Слишком большим для трёх человек. Раньше здесь постоянно были люди — гости, партнёры, имамы, родственники из аула, чиновники, бизнесмены, даже блогеры.

Иногда Асету казалось, что отец построил не дом, а маленький аэропорт для чужих жизней. Все прилетали и улетали. Никто не оставался.

На первом этаже — отдельная комната для намаза. Красивая. С коврами ручной работы, арабской каллиграфией, правильным освещением, полками для религиозных книг.

Если бы ангелы вели Instagram, подумал Асет, им бы понравилось.

В этой комнате часто фотографировались гости. Особенно в Рамадан. Люди любили выкладывать духовность в хорошем разрешении и правильном ракурсе.

После смерти отца Асет поймал себя на странном. Несколько раз за день заходил именно сюда. Не молиться. Просто эта комната была самым знакомым местом в доме. Здесь он боялся. Здесь чувствовал вину. Здесь учился прятать мысли. Психика редко ищет счастье — гораздо чаще возвращается в знакомое.

Сидя там, Асет наконец понял:

Отец больше никогда не откроет эту дверь.

Никогда не спросит:

«Где был?»
«Что читал?»
«Почему опоздал?»
«Почему не молился?»

Никогда.

И тут появилась страшная мысль.

«А что теперь делать?»

Двадцать семь лет его жизнь строилась вокруг чужих запретов. И теперь впервые начал думать о том, что раньше запрещал себе даже представлять.

Не преступления. Не что-то ужасное. Просто жизнь.

Уехать. Жить отдельно. Выпить бокал вина. Пропустить пятничную молитву. Влюбиться не в ту женщину. Сказать вслух то, что думает.

«Странно, — подумал Асет. — Почти все мои тайные желания считаются грехами. Но ни одно не является преступлением».

Дверь за спиной открылась. На террасу вышла Мадина. В руках — лёгкая кофта. Молча набросила сыну на плечи. Как делала много лет. Даже когда он давно вырос.

— **Простудишься.**
— **Мне двадцать семь.**
— **Простудиться можно в любом возрасте.**

Асет улыбнулся. Одна из немногих материнских фраз, против которых невозможно спорить.

Мадина села рядом. Они молчали. Смотрели на вечерний город — жёлтые огни, люди, которые возвращались домой, жизнь, которая уже начала забывать Еркека Сагдиева. Смерть вообще очень быстро проигрывает жизни.

— **Устала?**
— **Очень.**
— **Я тоже.**

Мадина кивнула.

— **Сегодня много хорошего говорили про отца.**

Асет усмехнулся.

— **Да.**

Пауза.

— Он и правда был хорошим человеком.

Мадина посмотрела на сына.

— Был.

— Тогда почему я его боялся?

Вопрос прозвучал спокойно. Слишком спокойно. От этого стало тяжелее. Мадина давно заметила: самые опасные вопросы задаются тихим голосом.

— Ты не боялся.

— Боялся.

— Он любил тебя.

— Я знаю.

— Он хотел тебе добра.

— Знаю.

— Тогда почему...

— Мам.

Он впервые перебил её.

— Я знаю всё это. Правда. Но я всё равно его боялся.

Мадина отвела взгляд.

Где-то далеко сигналил автомобиль. Лаяла собака. Шумел город.

— Мне было двенадцать.

Она поняла сразу. О чём он говорит.

— Асет...

— Нет. Давай сегодня честно. Хотя бы сегодня.

Он посмотрел на свои руки.

— Мне было двенадцать. Я ещё не начал совершать намаз. Не потому что протестовал. Не потому что не верил. Просто был ребёнком. Папа ругал меня из-за намаза. Потом просто ударил. Один раз. Ладонью. По лицу.

Мадина закрыла глаза. Эту сцену она помнила. Слишком хорошо.

— Не сильно. Не избил. Одна пощёчина. Наверное, многие скажут — это вообще не считается. Но я до сих пор помню щёки. Они горели. Кожа стала горячей. Через несколько минут он показал мне, как правильно стоять на намазе. А я всё ещё чувствовал жар на щеках.

Он замолчал. Потом тихо:

— Все думали, что на намазе я плачу от богобоязненности. А я плакал от страха.

Вечер стал ещё тише. Мадина смотрела на город и чувствовала вину перед сыном. Потому что видела. И ничего не сделала.

— Он вырос в другое время.

— Все так говорят.

— Это правда.

— Возможно. Но почему тогда никто не говорит про нас?

— В смысле?

— Про детей.

Он повернулся к матери.

— Мам, я с детства читал Коран. Несколько раз полностью. И всё время искал там себя. Хоть один аят про ребёнка, которому страшно. Хоть один аят про ребёнка, которого никто не слышит. Хоть один аят, который объясняет отцам, как любить своих детей.

Он усмехнулся. Грустно.

— Но всё время находил только взрослых.

Мадина молчала. Потому что не знала ответа. Потому что много лет боялась задать этот вопрос самой себе.

— Если Бог любит детей... Почему испытание обязательно приходит через боль? Почему нельзя через заботу? Через доброту? Через безопасность?

Он смотрел куда-то мимо неё. Будто говорил не с матерью — а с кем-то намного дальше.

— Иногда я думаю... Если бы кто-нибудь учил отцов любить детей так же подробно, как учат правильно читать молитвы... Может, половины наших проблем вообще не существовало бы.

Мадина почувствовала слёзы. Не из-за мужа. Из-за сына. Потому что впервые услышала то, что он носил внутри много лет.

— Отец любил тебя.

— Да.

Асет кивнул.

— В этом и проблема. Он действительно любил. По-своему. Но дома относился к людям как к сотрудникам. Дисциплина помогла ему построить бизнес. Дома она превратила его в начальника. А семья — не компания.

Пауза.

— **Хотя многие мужчины этого так и не понимают.**

Мадина неожиданно улыбнулась. Сквозь слёзы.

— **Ты сейчас говоришь совсем как Амир.**

— **Кто?**

— **Тот блогер, с которым отец встречался.**

Асет усмехнулся.

— **Значит, отец всё-таки умел выбирать собеседников.**

Они снова замолчали. Внизу домработница выключила свет в саду. Дом погружался в ночь.

Асет встал.

— **Пойду спать.**

— **Хорошо.**

Уже уходил. Но остановился.

— **Мам.**

— **Что?**

— **Сегодня все говорили, что отец был великим человеком.**

— **Да.**

— **А я весь день пытался вспомнить, когда мы последний раз просто разговаривали.**

Мадина ничего не ответила. Потому что тоже не могла вспомнить.

Асет поднялся на второй этаж. Постоял возле двери кабинета. Потом открыл.

Внутри всё осталось как прежде. Книги. Стол. Компьютер. Фотографии. Ручки. Документы. Будто хозяин просто вышел на пять минут и сейчас вернётся.

Асет подошёл к столу. Открыл верхний ящик — сам не зная зачем. Среди бумаг лежала старая чёрная тетрадь. Обычная. Потрёпанная. Без названия.

Он открыл первую страницу.

Почерком отца было написано:

«Самое страшное насилие — это когда человек искренне считает, что делает тебе добро».

Асет перечитал. Ещё раз. Ещё.

И впервые за весь день почувствовал растерянность вместо горя.

Потому что не понимал: это написал его отец. Или человек, которым отец стал перед смертью. А между этими двумя людьми, возможно, лежала вся тайна его убийства.

До двенадцати лет Асет был шумным. Постоянно что-то рассказывал. Смеялся. Шутил. Перебивал взрослых. Задавал неудобные вопросы.

После той пощёчины никто не говорил ему: «Стань серьезнее».

Но именно это и произошло. Он начал читать книги, которые приносил отец. Стал меньше говорить. Реже выходил на улицу. Всё чаще оставался дома.

Иногда Мадина думала, что её сын не вырос.

Спрятался.

Когда Асет был студентом, ему часто рассказывали одну притчу. Про ангела Джабраила, который плакал — не из любви, не из благодарности, а из страха. Боялся потерять веру. Потому что даже Иблис, рассказывали ему, когда-то был самым набожным среди ангелов. А потом стал сатаной.

Логика притчи была простой и беспощадной: если самый набожный пал, то нет никакой гарантии для остальных. Даже искренность не страховка. Даже любовь к Богу может в любой момент превратиться в его противоположность. Стой, бойся, не расслабляйся — вот что эта история вбивала в голову студента раньше, чем он успевал понять смысл слова «вера».

Асет вспомнил и другое. Хадис, который повторяли так часто, что он перестал восприниматься как страшный — просто стал фоном, как шум кондиционера.

«Если бы вы знали то, что известно мне — вы бы меньше смеялись и больше плакали. Ах, если бы я был деревом, а не человеком».

Дерево. Не камень, не вода, не птица. Дерево — потому что дереву не нужно отвечать за грехи. Дереву не нужно бояться Суда. Пророк, человек, которому, по преданию, был обещан рай, всё равно желал не быть человеком. Что должен чувствовать обычный смертный после такой фразы?

После этого хадиса Асет навсегда потерял способность получать удовольствие от жизни без примеси вины. Не сразу — постепенно, как привыкают к холодной воде. Радость перестала быть просто радостью. Она стала вещью, которую нужно было оправдывать. Смех — вещь, за которую потом будет стыдно перед кем-то невидимым, кто смотрит и помнит.

В исламской традиции это явление называют хавф и раджа — страх и надежда. Богословы описывают их как два крыла, которые должны держать верующего в равновесии, не позволяя ему ни впасть в отчаяние, ни обнаглеть от самоуверенности. Красивая метафора. Проблема в том, что крылья эти редко равны по размеру.

Открой тексты, проповеди, уроки воскресной школы для мусульман — и посчитай, сколько раз там звучит ад, наказание, гнев, кара, мучение, и сколько раз — прощение, милость, лёгкость, радость. Соотношение почти никогда не в пользу надежды. Страх в этих текстах всегда тяжелее. Гуще. Подробнее описан — с деталями огня, с описанием кожи, которая обновляется, чтобы гореть снова. Надежда же остаётся абстрактной: сады, реки, покой. Рай не описывается с той же дотошностью, с какой описывается ад.

Это не случайность и не побочный эффект. Это конструкция. Страх — куда более надёжный инструмент мотивации, чем надежда. Надежда расслабляет. Страх держит в тонусе. Сообщество, выстроенное на страхе, гораздо легче контролировать, чем сообщество, выстроенное на любви, — потому что испуганный человек не задаёт вопросов, он просто старается не ошибиться ещё раз.

Цена этой конструкции — тревожное расстройство, упакованное в религиозную добродетель. Хроническое чувство, что ты постоянно должен, постоянно недостаточен, постоянно на волосок от провала. Взаимоотношения с Богом, построенные на этом фундаменте, неотличимы от взаимоотношений с тревогой как диагнозом. Просто у тревоги нет молитвенного коврика.

Самое неприятное в этом то, что устрашение давно перестало быть прерогативой минбара и пятничной проповеди. Те же механизмы работают в коротких видео, в рилсах и тиктоках, где молодой блогер-проповедник с поставленным голосом и хорошим освещением за пятнадцать секунд успевает напугать зрителя адом сильнее, чем целая хутба тридцать лет назад. Алгоритм только усиливает то, что и так работало: страх удерживает внимание дольше, чем спокойствие. Видео про наказание собирает больше просмотров, чем видео про прощение. Это не этично — пугать людей ради вовлечённости, неважно, делает это проповедник с минбара или с телефона. Но это работает. А то, что работает, редко спрашивают, этично ли оно.

Из без того развитое чувство вины у Асета обострилось именно в те дни, когда он просыпал утренний намаз. Не потому что это казалось ему катастрофой само по себе. А потому что внутри немедленно включался голос — не отцовский, не материнский, ничей конкретно, просто общий, фоновый, выученный с детства голос, который напоминал: вот видишь. Опять не справился. Опять подвёл.

ГРЕХ ≠ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Амир проснулся раньше будильника. Плохой знак. Организм будил его досрочно по двум причинам — тревога или мочевого пузыря. На этот раз мочевого пузырь был ни при чём.

Он лежал и смотрел в потолок, а в голове крутилось одно: голос Сагдиева — *«Самое важное я ещё не рассказал».*

Мёртвые вообще умеют это. Говорить больше после смерти, чем при жизни.

Амир встал, умылся, поставил чайник. Достал то самое печенье, с которым его желудок давно заключил мир — токсичный, но стабильный.

Сел. Чай. Телефон. Тишина. Комментарии под вчерашним видео — он открыл и почти сразу пожалел.

Интернет давно перестал быть местом, где узнают новое. Сюда приходят подтвердить то, что уже знали.

Первый комментарий: «Если человек не молится, он преступник перед Аллахом». Второй: «Это его личное дело». Третий: «Оба неправы». Четвёртый: «Где купить такой чай?»

Последний показался самым конструктивным.

Амир отложил телефон. Открыл ноутбук. Создал документ. Долго смотрел на пустой экран. Потом написал:

ГРЕХ ≠ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И уставился на знак между словами. Два косых штриха. Неравенство. Может, вся история человечества и умещается вот в этом символе. Он приступил к тексту.

Через час камера горела красным. Запись пошла.

— Чем отличается грех от преступления?

Пауза.

— Вы съели свинину. Для верующего — грех. Но кого вы ограбили? Кого ударили? Никого. Для уголовного кодекса вы просто человек с бутербродом.

— Или: вы перестали верить. Для многих религий — страшный грех, отступничество. Но неверие общественно опасно? Если да, придётся строить тюрьмы для философов. А они, как показывает история, и без того редко счастливы.

Он откинулся на спинку кресла.

— Когда мне пишут: «без религии нет морали», — я каждый раз задаю один вопрос: вы понимаете разницу между грехом и преступлением?

Человечество тысячи лет не понимало. Цена оказалась огромной.

Большую часть истории грех и преступление были одним и тем же. Вольнодумец — преступник. Другое мнение — преступник. Критика священного текста — преступник. Поклонился не тому богу — преступник. Сегодня это звучит как абсурд. Но именно так люди жили тысячелетиями.

Переворот произошёл в XVII–XVIII веках. Несколько человек задали вопрос, который раньше стоил жизни:

А что если власть не священна? Что если король — просто человек? Что если закон существует не для защиты Бога, а для защиты людей?

Локк заговорил о естественных правах. Жизнь, свобода, собственность — не подарок церкви. Данность при рождении. Монтескье предложил разделить власть — и эта идея легла в основу большинства государств, потому что любая неограниченная власть рано или поздно становится тиранией. Вольтер высмеивал фанатизм и требовал одного: нельзя убивать человека за то, что он думает иначе.

Из этого выросли Американская революция, Французская революция, конституции, права человека, светское государство и наука. Всё, что сегодня кажется само собой разумеющимся. Но ничего из этого не было данностью. За каждую из этих идей люди сидели в тюрьмах. Горели на кострах. Гибли.

И вот тогда произошло главное: преступление отделили от греха.

Грех стал религиозной категорией. Преступление — юридической.

Грех определяет вера. Преступление — закон. В грехе может не быть потерпевшего. В преступлении — он есть всегда.

Украл — есть потерпевший. Убил — есть жертва. Мошенничал — есть ущерб. Но если человек не верит в догмы? Кому причинён вред? Кто потерпевший? Как измерить ущерб?

Никак.

Преступление нужно доказывать. Грех можно просто объявить. Когда преступление становится грехом, можно посадить любого.

Поэтому сакрализованное право — самое жестокое. Оно уверено в собственной правоте. Тот, кто убеждён, что говорит от имени Всевышнего — никогда не сомневается. Именно поэтому история религиозных репрессий такая кровавая. Инквизиции. Казни за отступничество. Сожжённые книги. Убитые учёные. Мораль безгранична — она лезет в спальню, в мысли, в переписку, в чувства. Она всегда хочет больше контроля. Сегодня — неправильная одежда. Завтра — неправильная музыка. И всегда начинается одинаково: красивые слова о нравственности, традициях, духовности. Заканчивается тоже одинаково: контроль, цензура, страх.

Современный закон намного уже морали. И это хорошо. Светский закон задаёт один вопрос: «Какой вред причинён?» И в этом его сила.

Амир посмотрел на экран. Половина участников эфира ушла. Тема показалась скучной.

— Есть парадокс, который мало кто замечает. Современное право появилось не потому, что люди стали менее моральными. Наоборот. Общество наконец поняло: не всё аморальное должно быть преступным. Человек может быть высокомерным, неблагодарным, мерзким. Но это ещё не тюрьма.

Главный вопрос цивилизации никогда не звучал: «Что является грехом?» Он всегда звучал иначе: «За что человек имеет право лишить другого человека свободы?»

На экране появился первый комментарий: «Амир, убийство и кражу запрещает и религия, и уголовный кодекс. Значит кодекс основан на религии». Амир был готов.

— Это неверный вывод. Совпадение некоторых запретов не означает одинаковую природу.

Религия: не убивай, потому что Бог запретил. Право: убийство запрещено, потому что оно причиняет тяжёлый вред человеку и обществу. Разные основания. Если завтра выяснится, что Бога нет — религиозное обоснование исчезнет. Юридическое останется. Потому что вред никуда не денется.

И ещё: запрет убийства старше большинства современных религий. Не убивать своих было выгодно уже первобытным племенам — племя, где все режут друг друга, долго не живёт. Религия эти нормы унаследовала и освятила. Не придумала.

Один из слушателей: «Ты хочешь сказать, что законы, придуманные людьми, выше божественных?»

Амира давно не раздражали такие вопросы. Возможно, в этом и разница между убеждениями и предубеждениями.

— Понимаю вас. Этот вопрос когда-то беспокоил и меня. Для мусульманина фикх — воля Аллаха. Отказаться от фикха равно усомниться в Аллахе. Поставить светский закон выше фикха — ширк. Признать право человека выше божественного — пойти против Бога.

Отсюда вся логика: законы людей — временные, с погрешностями. Законы Бога — вечные, совершенные. Фикх основан на Коране и сунне. Поэтому он не меняется. Никто не изменит пять фарзов или шесть столпов веры. В светском праве норма может быть исправлена, если ошибочна.

Конфликт не в злобе, а в иерархии:

Светский человек: моё тело — моё. Моя сексуальность — моя. Моя вера — мой выбор.

Фикховый подход: тело — аманат от Аллаха. Секс — разрешён или запрещён. Еда — халал или харам. Вера — обязанность.

Два несовместимых принципа: автономия личности и подчинение доктрине. Фикх вторгается в личные границы, потому что считает человека собственностью Бога. Светское право исходит из противоположного: человек автономен.

Кто-то из эфира: «А почему верующие презирают светские законы?»

— Не потому что они плохие люди. Потому что светский закон признаёт человека источником морали, а фикх это отрицает.

Атеист слышит: «все должны жить по нашим нормам». Верующий слышит: «откажись от Бога». Оба воспринимают это как угрозу существованию, а не как дискуссию.

Кто-то написал из эфира: «А почему фикх такой жёсткий именно в военных вопросах?»

— Потому что он во многом и формировался в военное время, а не в мирное. Это важно понимать буквально, не метафорически.

Амир открыл заметки.

— Возьмём суру Анфаль, шестидесятый аят. «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы утратить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах». Это язык не философа, который размышляет о добре и зле в кабинете. Это язык военного штаба перед кампанией.

— Может, это просто исторический контекст? — спросил кто-то из чата.

— Конечно контекст. Но фикх потом взял именно этот язык военного времени и заморозил его как вечную норму. Сура Ниса, пятьдесят шестой аят: «Тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжём в Огне. Всякий раз, когда их кожа готовится, Мы заменим её другой кожей, чтобы они вкусили мучения». Сура Мухаммед, четвёртый аят: «Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы».

В студии — то есть в этот раз просто у него на экране — стало тихо.

— А Ниса, восемьдесят девятый аят, идёт ещё дальше: «Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников». И про сражение при Бадре, в той же Анфаль, двенадцатый аят — «всёлю страх в сердцах неверующих. А вы рубите им головы и пальцы».

— Зачем вы это читаете вслух? — написал кто-то резко.

— Затем, что эти аяты формировали правовую систему, которую сегодня нельзя применять к мирной жизни двадцать первого века. Исламское право в значительной части написано по законам военного времени — конкретного военного конфликта конкретной общины в конкретном веке. А не по законам мирного человека, который просто пытается прожить обычную жизнь среди соседей других вероисповеданий. Конечно, классический фикх не сводится только к военному праву. Часть фикха посвящена богослужению, семейному праву, наследованию, торговле и уголовному праву. Но применять военное право к миру — то же самое, что жить по законам военного положения, когда войны давно нет. Технически можно. Но получится не справедливость, а перманентная мобилизация против воображаемого противника.

Кто-то спросил тише: «И как это всё влияет на нас сегодня?»

— Сильнее, чем кажется. Язык Корана в целом изобилует гневными аятами — не только в отдельных военных сурах, а как общий регистр речи. И этот язык не остался в седьмом веке. Он повлиял на саму культуру мусульман — на то, как ведутся споры, как звучит современная религиозная риторика в интернете. Она отражает язык первоисточника почти буквально, просто в новой обёртке.

— Вы хотите сказать, что это влияет даже на развитие? — спросил Данияр.

— Я думаю, это одна из причин отсталости в некоторых мусульманских обществах — не единственная, но значимая. Негативный, обвиняющий, делящий мир на своих и чужих язык не создаёт перспективы для развития. Он создаёт оборону. А оборона — это не среда, в которой рождается наука, экономика или открытое общество.

Пауза.

— И есть ещё одна вещь, которую часто романтизируют. Ислам установил себя, применяя силу. Это не история про завоевание сердец проповедью и убеждением — хотя такая история тоже существует, и она тоже правда. Но от Бадр при Пророке до Бухары при Кутайба ибн Муслиме в деле неизменно присутствовал меч. Военные походы, оккупации, и весь сопутствующий набор элементов завоевания — налоги на побеждённых, разрушение прежних институтов, навязанная иерархия. Распространение религии силой — это исторический факт, а не выдумка критиков. Эпоха арабских завоеваний и постоянные войны первых веков ислама сильно повлияли на разделы фикха, посвященные международному праву и отношениям с немусульманами. Именно поэтому сегодня эти разделы неприемлемы.

— *«Ислам запрещает алкоголь. Это же хорошо?»*

— Да, но не отменил рабство.

И есть ещё проблема равенства. Амир выложил на экран таблицу, которую несколько дней назад сделал в Excel.

Фикх

Светское право

Равенство людей

Нет

Да

Женщина

Иные права

Равные права

Неверующий

Пониженный статус

Полные права

Свидетельство

Зависит от пола и веры

Равноценно

Наказания

Разные

Одинаковые

Телесные наказания

Есть

Нет

— Фикх регулирует верующего. Конституция — общество. Пользоваться благами светской цивилизации, учиться в светских школах, лечиться светской медициной, защищаться светским судом, зарабатывать в процентной экономике и при этом игнорировать её правовую основу — не религиозность.

За окном проехала машина. Щёлкнул холодильник. Город жил своим. Эфир закончился. Но ощущение было — разговор только начался.

Через сорок минут комментариев стало больше. Народ спорил. Юристы против богословов. Некоторые просто ругались. К вечеру Амир устал читать.

Пустая детская

Убийства в кино всегда выглядели интереснее. В кино убийца оставлял загадочный символ на стене. Шифр. Послание. Карту сокровищ с намёками, от которых у детектива загорались глаза и начинала играть музыка. В реальности убийцы чаще всего оставляли следователю головную боль и пустые папки.

Ильяс сидел за столом уже третий час. На экране — фотографии с места убийства Сагдиева, заключение эксперта, баллистика, отпечатки, схемы, протоколы. Всё выглядело профессионально. Почти красиво. Если не помнить, что в центре этой красоты лежал мёртвый человек.

Пуля вошла под углом. Оружие не найдено. Чужих отпечатков нет. Камеры ничего полезного не дали. Телефон Сагдиева изучен вдоль и поперёк — переписки, звонки, голосовые, фото, видео. Обычная жизнь богатого человека. Семья. Бизнес. Поздравления. Шутки. Внуки. Реклама стоматологии.

Ничего.

Следствие работало идеально. Проблема в том, что идеальная работа не гарантирует результат. Иногда преступник оказывается умнее системы. Иногда просто везучее. Иногда между этим нет разницы.

Ильяс закрыл очередной документ. Потёр глаза. На столе лежала папка фонда Сагдиева — он открыл её скорее от усталости, чем по плану. Когда долго смотришь на одну дверь, начинаешь проверять соседние.

Название фонда выглядело безобидно.

Tibbi Nawawi.

Медицина пророка. Звучало красиво, даже уютно — как будто тебя сейчас вылечат от гастрита, тревожности и одиночества одним фиником.

Он открыл отчёт. Спонсор — Ермек Сагдиев. Основной попечитель — Ермек Сагдиев. Основной источник финансирования — Ермек Сагдиев.

Слишком много Сагдиева. Это уже было интересно.

Через час его машина въезжала на окраину города. Здание центра оказалось неожиданно аккуратным — не больница, не мечеть, не санаторий. Что-то между всем этим. На фасаде зелёными буквами:

«Tibbi Nawawi — здоровье по сунне».

Интегративная медицина. Клиническая психосоматика. Телесно-ориентированная терапия

Под надписью красовались фотографии фиников, мёда и счастливой семьи. Счастливая семья давно стала главным медицинским аргументом человечества. Если на рекламе улыбаются дети — продукт полезный. Логика железная.

Внутри пахло травами, корицей, мятой и ещё чем-то таким, что обычно продаётся в пакетиках по цене золота. На стенах — аяты, пейзажи, горы, реки, закаты. Природа отлично продаёт любую идеологию. Особенно если рядом нет лаборатории.

Администратор попросила подождать. Через несколько минут вышла заведующая. Лет сорока пяти. Платок, безупречная улыбка, последний iPhone. Косметики на лице было столько, что при хорошем освещении можно было изучать геологические эпохи.

- **Ассаляму алейкум, машаллах, проходите.**
- **Добрый день.**
- **Субханаллах, редко к нам полиция приходит.**
- **Я не полиция.**
- **А кто?**
- **Следователь.**

Женщина на секунду задумалась.

- **Это хуже?**
- **Обычно да.**

Она рассмеялась. Слишком быстро. Слишком профессионально. Люди, которые часто улыбаются незнакомцам, обычно что-то продают или скрывают. Иногда одновременно.

Экскурсия по центру заняла пятнадцать минут: кабинет УЗИ, процедурная, палаты дневного стационара, стеллажи с травами, бутылочки, кисталь хинди, масла, шубат, чёрный тмин, яблочный и гранатовый уксусы. Ильяс внимательно слушал. Не спорил. Не комментировал. Просто запоминал.

За годы работы он понял простую вещь: люди сами рассказывают всё нужное. Главное — не мешать.

- **У нас комплексный подход.**
- **Что это значит?**
- **Мы рассматриваем человека целиком.**
- **В отличие от кого?**
- **В отличие от обычной медицины.**

Эта фраза встречалась во всех странах мира. Обычная медицина давно стала виновата во всех грехах человечества. Кроме тех случаев, когда человеку становилось совсем плохо — тогда почему-то вызывали именно обычную скорую.

В одном из кабинетов в конце коридора заведующая на секунду замешкалась.

- **А здесь что? — спросил Ильяс.**

— **Кабинет духовной практики.**

— **То есть?**

Она поколебалась — впервые за всю экскурсию.

— **Мы иногда приглашаем имама. Для рукия.**

— **Рукия?**

— **Чтение определённых аятов. Для тех, кого беспокоят джинны.**

Ильяс ничего не ответил. Просто заглянул внутрь. Маленькая комната, кушетка, кувшин с водой, несколько подушек на полу. Ничего зловещего на первый взгляд. Обычная процедурная, только без аппаратуры.

— **И это работает? — спросил он.**

— **Многим помогает.**

— **От чего именно?**

— **От тревоги. От бессонницы. Иногда от голосов.**

Последнее слово она произнесла обычным тоном — как произносят слово «температура» или «насморк». Будто голоса в голове были таким же симптомом, как и все остальные, просто требующим другого специалиста.

Ильяс закрыл дверь кабинета. Подумал, что для расследования это, скорее всего, не имеет значения. Но что-то в этой маленькой комнате с кувшином воды задержалось в голове дольше, чем следовало.

Изгнание бесов — дело совсем не новое. У христиан существует *Rituale Romanum*, официальный обряд экзорцизма, который Католическая церковь не отменяла столетиями и до сих пор применяет в отдельных епархиях. Мусульмане читают определённые аяты и дуа против джиннов. У шаманов есть свои ритуалы, у знахарей — свои. Каждая культура придумала собственный язык для одного и того же явления.

До появления психиатрии как науки люди действительно верили, что в человека вселяется бес, дух, джинн — название зависело только от широты и долготы. Объяснение работало, потому что было единственным доступным. Реальность, впрочем, была куда менее мистической и куда более поддающейся лечению. За большинством этих историй стояли вполне конкретные диагнозы — эпилепсия, шизофрения, диссоциативные расстройства, тяжёлая депрессия с психотическими эпизодами.

Самой известной и самой печальной иллюстрацией этого стала история немецкой студентки Аннелизы Михель. В семидесятых годах у неё диагностировали эпилепсию с сопутствующими психическими симптомами. Вместо медикаментозного лечения, прерванного по настоянию глубоко религиозной семьи, девушку подвергли десяткам сеансов экзорцизма. Свя-

щенники читали молитвы месяцами. Аннелиза перестала есть. Перестала пить. Истощённая, она умерла в возрасте двадцати трёх лет, весив чуть больше тридцати килограммов. Судебное разбирательство по делу её родителей и двух священников стало одним из самых громких процессов в истории Германии — и одним из самых наглядных доказательств того, к чему приводит замена медицины ритуалом.

Популярность подобных центров — не казахстанское изобретение и не исламская особенность. Это универсальный человеческий механизм, который психиатры называют магическим мышлением: склонность видеть скрытые связи, смыслы и намерения там, где на самом деле работает случайность или болезнь. У этого механизма есть даже неврологическое объяснение — синдром Гешвинда, описанный у некоторых пациентов с височной эпилепсией: повышенная религиозность, склонность к долгим философским и мистическим рассуждениям, гиперграфия — навязчивое желание писать. Не доказательство существования джиннов. Доказательство того, что мозг при определённых нарушениях сам генерирует ощущение глубокого духовного смысла — убедительное настолько, что отличить его от подлинного откровения почти невозможно без специального обследования.

Магическое мышление и традиционализм не существуют отдельно от общества — они формируют его повседневность, отдаляя людей от рациональности медленно и незаметно, шаг за шагом. Отсюда и рождаются все эти траги-комедийные сценки, которые могли бы быть смешными, если бы не стоили иногда человеческой жизни: вера в целебную силу саумала, способного будто бы вылечить что угодно от диабета до бесплодия; поездки за сотни километров к барсучьему жиру, который растирают при простуде вместо похода к врачу; паломничества к местным целителям и баксы вместо элементарного анализа крови; готовность поверить во что угодно — кроме готовности поменять образ жизни, питание, привычки. Изменить рацион тяжелее, чем поверить в чудо. Чудо не требует дисциплины. Оно требует только веры — а вера, в отличие от диеты, бесплатна и не просит от человека вообще ничего.

— У вас недавно умер ребёнок?

Улыбка заведующей дрогнула. Совсем немного. Но Ильяс заметил.

— Трагедия.

— Девочка лечилась здесь?

— Она была у нас на приёме.

— Что назначили?

— Травяной сбор.

— Пневмония была диагностирована?

— У неё было ОРВИ.

— Кто поставил диагноз?

Пауза.

— Наш специалист.

— Педиатр?

— Терапевт.

— Он слушал лёгкие?

Улыбка исчезла. Впервые.

— **Я не присутствовала.**

— **Понятно.**

На самом деле ничего не было понятно. Но Ильяс уже чувствовал направление.

За неделю до смерти девочка сидела дома. Ей было шесть лет. На стене висели рисунки — русалки, единороги, солнце, котёнок. Обычный детский мир. Тот, который ещё не знает про религиозные споры, идеологии и взрослые глупости.

Сначала насморк. Потом температура. Потом кашель. Мать не волновалась — ОРВИ, у детей бывает. Но температура не прошла. Через несколько дней — тяжёлый кашель. Ночью девочка начала дышать с трудом.

Тогда мать привезла её сюда.

В центр. Где говорили правильные слова, улыбались и обещали естественное лечение. Где никто не произносил слово «антибиотики» — потому что антибиотики были частью другого мира. Мира больниц. Мира страшного и сложного. А здесь было уютно. Почти по-домашнему.

— *Это испытание.*

— *Читайте дуа.*

— *Чёрный тмин помогает.*

— *Аллах исцеляет.*

Она верила. Искренне. Потому что любила дочь.

Именно это делало историю такой страшной. Она не хотела смерти ребёнка. Она хотела спасения. Просто выбрала не ту дверь.

В последнюю ночь мать сидела возле кровати. Читала аяты. Дуа. Перечисляла имена участников Бадра — все триста тринадцать. Как её научили. Как советовали. Как передавали друг другу люди, уверенные в собственной правоте.

Девочка тяжело дышала.

Очень тяжело.

Потом уснула.

А под утро перестала дышать совсем.

Когда Ильяс вышел из кабинета заведующей, на улице уже темнело. Он сел в машину. Молчал несколько минут. Потом открыл документы фонда — список попечителей, список спонсоров, список партнёров.

Строки бежали одна за другой. Ничего. Ничего. Ничего.

Потом он остановился. Перечитал фамилию. Снова. Ещё раз — медленно.

Это имя он уже видел. Совсем недавно. В другом месте. В другом контексте. Рядом с убийством Сагдиева.

Ильяс откинулся на сиденье. За окном вечерний город жил своим: люди возвращались домой, покупали хлеб, стояли в пробках, писали сообщения, ссорились, влюблялись, планировали будущее. Не подозревая, что иногда самые важные вещи соединяются не уликами.

А фамилиями.

Он ещё раз посмотрел на документ. И тихо сказал:

— Вот ты где.

Пазл впервые показал уголок рисунка.
Расследование наконец сдвинулось.

Кто спас человечество?

Утро Амир встретил в кофейне. Не потому что любил кофе — любил он чай. Кофе пил скорее из антропологического интереса.

Последние годы Алматы напоминал город, который решил превратиться в кофейню и посмотреть, что получится. Кофейни везде: на первых этажах жилых комплексов, в бизнес-центрах, на заправках, возле школ, возле университетов, возле других кофеен. Иногда Амиру казалось: открой кофейню внутри кофейни — люди всё равно потянутся. Потому что кофе давно перестал быть напитком. Он стал городской религией.

Через панорамное окно было видно улицу. Девушка в спортивном костюме шла с бумажным стаканом. Парень на электросамокате держал кофе. Риэлтор показывал клиентам квартиру — и одновременно пил кофе. Молодая мама катила коляску одной рукой, во второй кофе. Даже мужчина, выгуливавший собаку, держал кофе. Собака кофе не держала только потому, что эволюция ещё не успела адаптироваться к требованиям рынка.

Амир сделал глоток американо. Как всегда — слегка подогретое разочарование. Кофе редко бывает вкусным. Особенно первый год. Его пьют не за вкус. За надежду. Каждое утро тысячи Алматинцев покупают маленький стакан надежды на то, что сегодняшний день окажется терпимее вчерашнего.

Алматы вообще выглядел как город, который очень хотел спать, но почему-то продолжал бодрствовать. Люди устали — от работы, кредитов, пробок, новостей, инфляции, от необходимости постоянно быть успешными. И ещё больше от необходимости постоянно казаться успешными. Второе утомляет сильнее первого.

Раньше люди страдали от голода. Теперь многие страдали от сравнения. Соцсети превратили человечество в бесконечный конкурс чужих достижений: кто-то путешествует, кто-то худеет, кто-то красиво разводится, кто-то красиво страдает. Даже депрессия постепенно научилась выглядеть презентабельно.

За соседним столом девушка фотографировала круассан. Амир с интересом наблюдал — ему всегда нравилось, как человечество сначала изобрело еду для выживания, а потом превратило её в контент. Через минуту девушка удовлетворённо кивнула и начала есть. Фотография получилась. Это было главное.

В кофейню вошли трое студентов. Один сказал:

— Тут прикольный вайб.

Амир невольно улыбнулся. Слово «вайб» он особенно любил — не потому что понимал его значение, а потому что его не понимал никто. Когда человек говорил «мне нравится вайб этого места», он сообщал ровно столько же информации, сколько древний шаман, объясняющий засуху дурным настроением духов. Слово было гениальное: означало всё — и потому не означало ничего. Оно пришло на смену «атмосферному месту» и вобрало его целиком. Теперь кофейня могла быть либо вайбовой, либо, наоборот, кринжовой — а «кринж» точно так же

поглотил старое «беспонтово», не потрудившись объяснить, чем именно провинилось место. Язык упрощался вместе с людьми, и делал это, надо признать, с большим вайбом.

Он достал телефон. Открыл Threads. Приготовился узнать, о чём сегодня думает страна.

За два года эта сеть проделала эволюцию, обратную человеческой: из приложения для коротких текстов превратилась в приложение для длинных обид, а потом незаметно стала коллективным бессознательным целой страны. Пульс общества больше не нужно было измерять приборами — достаточно было открыть ленту и посмотреть, на что сегодня жалуется нация.

Первый пост: министр сделал заявление. Второй: кто знает хорошего стоматолога? Третий: девочки, где познакомиться с нормальным мужчиной? Четвёртый: мой кот сегодня впервые залез на подоконник — фотография кота прилагалась. Пятый: экономика Казахстана находится в сложной фазе структурной трансформации... Шестой: девочки, срочно — если мужчина не читает книги, это ред флаг или грин флаг? Седьмой: кто-нибудь знает, почему мой кот перестал есть огурцы?

Амир всегда удивлялся, насколько естественно мозг переключается между государственным долгом и огурцами для кота. Раньше казалось — симптом деградации. Потом понял: просто жизнь. В одной голове спокойно помещаются ипотека, политика, любовь, гастрит и желание заказать суши.

Он пролистнул ещё. Где-то ругали правительство, где-то мужчин, где-то женщин, где-то Америку, где-то Россию, где-то Казахстан. Человечество любило искать виноватых. Поиск причин требовал мышления. Поиск виноватых — только эмоций. Именно поэтому второе всегда побеждало первое.

Палец автоматически скользнул дальше. Потом остановился.

Он вернулся. Перечитал заголовок. Пост был коротким — всего несколько строк:

Девочка 7 лет умерла от осложнений пневмонии. Родители несколько дней лечили её средствами народной медицины. Медицинская помощь была оказана слишком поздно.

Ниже шёл длинный спор. Сотни комментариев. Тысячи. Почти все уже разбились на знакомые лагерь: родителей посадить. Не смейте обвинять мать — она хотела как лучше. Всё равно медицина не всегда помогает. Виновата система. Виноваты врачи. Виноваты фармкомпаний. Виноваты масоны. Виноват Запад. Виноват Восток.

Интернет никогда не испытывал дефицита виноватых.

Амир отложил телефон. Посмотрел в окно. Мимо прошёл мужчина с кофе. За ним девушка с кофе. За ней курьер с кофе. Город продолжал жить — будто ничего не произошло. Хотя где-то несколько дней назад умер ребёнок.

Это всегда поражало его. Мир не останавливался. Даже после смерти. Особенно после смерти. Потому что смерть важна только тем, кто остался рядом. Для остальных она быстро превращается в новость. Потом в статистику. Потом в забытую ссылку.

Он снова открыл комментарии. Один пользователь написал:

Людей лечили без антибиотиков тысячи лет и ничего.

Амир перечитал. Потом ещё раз. И почувствовал знакомое раздражение. Не злость. Не ярость. Именно раздражение — так чувствует инженер, когда ему объясняют, что самолёты летают благодаря молитвам. Или хирург, которому рассказывают, что аппендицит лечится правильным настроем. Или пожарный, которому советуют тушить дом позитивным мышлением.

За последние годы он заметил закономерность: чем меньше человек понимал науку, тем увереннее рассуждал о ней. Никто не приходит в аэропорт объяснять пилоту аэродинамику. Никто не учит кардиохирурга пересаживать сердце. Но медицина считалась территорией всеобщей демократии. Каждый второй с мнением. Каждый третий с теорией. Каждый четвёртый с собственной методикой очищения организма. Слово «очищение» всегда вызывало у него тревогу. Под ним обычно скрывались либо клизмы, либо политика. Иногда одновременно.

Он допил кофе. Поморщился. Но мысль уже складывалась — тот самый момент, когда разрозненные идеи начинают собираться в конструкцию. Смерть девочки. Антибиотики. Вакцины. Гигиена. Наука. И вечное человеческое желание получить сложный результат через простое объяснение.

Амир открыл ноутбук. Некоторое время смотрел на пустой документ. Потом написал заголовок:

Кто спас человечество?

После чего задумался. Если задать этот вопрос среднестатистическому человеку, тот наверняка назвал бы пророка. Или революционера. Или великого полководца. Люди любили героев. Герои выглядели красиво. Гораздо красивее канализации.

А между тем человечество спасли не только они.

Амир улыбнулся — потому что уже знал первую фразу будущего ролика. И эта фраза обязательно кого-нибудь разозлит. А значит, будет работать.

Домой он вернулся ближе к вечеру. Свет включать не стал. Несколько минут квартира жила в полумраке. На стене темнели лодки Джозефа Коута — вода на картине выглядела спокойнее, чем жизнь за окном.

Амир поставил ноутбук на стол. Проверил камеру, микрофон, свет. Рядом поставил кружку чая. Не кофе. Кофе был напитком города. Чай — напитком внутренней эмиграции.

Нажал запись. Красный огонёк загорелся. Амир посмотрел в объектив. И начал.

— Человечество спасли скучные люди. Те, чьи имена большинство из нас не знает. Они мыли руки, кипятили инструменты, смотрели в микроскоп, спорили с коллегами, писали скучные статьи и умирали в относительной безвестности. А ещё человечество спасли канализация, чистая вода и мусорные службы. Да, звучит не очень духовно. Но бактерии вообще не отличаются развитым религиозным вкусом.

Он сделал глоток чая.

— Если бы современного человека перенести на двести лет назад, он с большой вероятностью умер бы от инфекции. От грязной воды. От родов. От раны. От пневмонии. От туберкулёза. От того, что врач не помыл руки. От того, что никто ещё не знал: невидимый мир микроорганизмов существует не для украшения учебника биологии, а для ежедневного убийства людей.

Он откинулся.

— Мы настолько привыкли к современной медицине, что перестали видеть чудо. Ребёнок заболел — идём к врачу. Температура — жаропонижающее. Пневмония — антибиотики. Операция — анестезия. Роды — роддом. Это кажется нормой. Но большую часть истории это была фантастика. Человечество жило в мире, где зубная боль могла стать судьбой. Где роды были русской рулеткой. Где царапина заканчивалась смертью. Где детская смертность была не трагическим исключением, а частью обычной статистики семьи.

Он помолчал.

— Мы любим говорить о духовности прошлого. Но забываем, что прошлое очень часто пахло гноем, дымом, потом и нечистотами. История в кино слишком чистая. На самом деле прошлое нуждалось не только в пророках. Оно отчаянно нуждалось в мыле.

Амир чуть улыбнулся.

— XVIII век. Люди ещё не понимают микробов, но начинается медленная революция разума. Эдвард Дженнер делает прививку против оспы. Болезнь, которая уродовала, ослепляла и убивала миллионы. Сегодня большинство людей даже не представляет её ужаса — потому что вакцинация сделала то, чего не сделали ни заговоры, ни молитвенные марафоны, ни травяные настои. Она уничтожила оспу как массовую угрозу. И, как обычно, многие современники сначала сопротивлялись. Человечество очень не любит тех, кто его спасает непривычным способом.

На экране появились старые фотографии больниц.

— XIX век. Пастер показывает, что болезни связаны с микробами. Листер внедряет антисептику в хирургию. Игнац Земмельвейс говорит врачам: мойте руки. Кажется бы, что проще? Но его не поняли. Над ним смеялись. Его отвергали. Почему? Потому что признать его правоту означало признать страшную вещь: во время родов врачи сами убивали женщин грязными руками. Иногда правду не принимают не потому, что она сложная. А потому что она унижительная.

Амир посмотрел прямо в камеру.

— Земмельвейс был одним из тех людей, кто спас миллионы, но не получил благодарности от своего века. Это вообще распространённая судьба спасителей чело-

вечества. Сначала ты говоришь людям правду. Потом они тебя ненавидят. Потом их внуки называют твою правду очевидной.

Он сделал паузу.

— XX век. Антибиотики. Пенициллин. Флеминг. Потом массовое производство — и мир меняется. То, что раньше убивало, начинает лечиться. Пневмония. Сепсис. Туберкулёз. Инфекции ран. Послеродовые осложнения. Не всё. Не всегда. Не идеально. Но настолько эффективно, что человечество впервые начинает забывать, каким страшным был обычный бактериальный мир.

— Вакцины. Джонас Солк. 1955 год. Полиомиелит — болезнь, которая парализовала детей по всему миру, включая будущего президента США. Солк создаёт вакцину. Испытания на более чем миллионе детей. Заболеваемость падает на девяносто процентов. Знаете, что он сделал с патентом? Не запатентовал ничего. Когда его спросили, кому принадлежит вакцина, он ответил: «Народу. Разве можно запатентовать солнце?»

— Альберт Сэйбин пошёл дальше. Создал оральную вакцину против полиомиелита — ту, которую можно давать на кусочке сахара. Дёшево. Просто. Без игл. Сэйбин в разгар холодной войны передал советским учёным свой штамм бесплатно — потому что полиомиелит не знал идеологии. Сегодня болезнь практически уничтожена на планете. Благодаря этим двум людям.

— Но есть один человек, о котором вы почти наверняка никогда не слышали.

Амир сделал паузу. Намеренно.

— Морис Хиллеман. Разработал более сорока вакцин. Сорок. Против кори, паротита, краснухи, гепатита А и Б, ветрянки, менингита, пневмонии, тифа. По оценкам специалистов, его работа ежегодно спасает восемь миллионов жизней. Это не опечатка. Восемь миллионов в год.

— Для сравнения: Александр Македонский вошёл в историю как великий завоеватель. Его армии прошли от Македонии до Индии. Он убил десятки тысяч людей. О нём сняты фильмы, написаны книги, его имя знает каждый школьник. Хиллеман спас людей в тысячи раз больше. Его имя не знает почти никто.

Он помолчал. Давая это осесть.

— Почему? Потому что история любит завоевателей. История плохо умеет писать про тех, кто тихо работал в лаборатории и не убил ни одного человека. Хиллеман как-то сказал, что учёные — самые неблагодарные люди на свете, потому что работают на будущее, которое уже не будет их помнить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.